

## Г

Список жителей Латвии в возрасте до 16 лет,  
депортированных 14 июня 1941 года

Габранова Аусма Антоновна	1934	Гариёнис Албертс Екабович	1926
<b>Гайдлазда Ливия Петеровна</b>	<b>1932</b>	Гароза Андрейс Рудольфович	1940
Гайдуде Анатолийс Петерович	1935	Гароза Кармена Петеровна	1935
Гайдуде Мария Викторовна	1937	Гароза Оярс Рудольфович	1937
Гайдуде Ольга Викторовна	1928	Гароза Петерис Петерович	1938
Гайдуде Раиса Петеровна	1937	Гароза Вия Петеровна	1931
Гайдудс Езупс Викторович	1932	Гарне Аустра Леопольдовна	1940
Гайдже Анна Яновна	1931	Гарша Арийс Рудольфович	1927
Гайдже Эрна Яновна	1936	Гауше Ария Фрицевна	1938
Гайдже Валентина Яновна	1927	Гауше Цилда Фрицевна	1935
Гайле Бирута Альфредовна	1925	Гаушис Артурс Фрицевич	1940
Гайлис Гунарс Янович, род. в ссылке	21.12.41	Гауя Андрейс Леонович	1931
Гайлите Лигита Элмаровна	1938	Гауя Янис Леонович	1929
Гайлите Скайдрите Альфредовна	1935	Гегере Мара Робертовна	1940
<b>Гайлитис Гундарс Паулович</b>	<b>1928</b>	Гедройца-Юраго Терезе Яновна	1938
Гайлюнас Албертс Янис Янович	1939	Гедройца-Юраго Ванда Яновна	1935
Гайлюнас Регина Яновна	1936	<b>Гедровска Аустра Мартиновна</b>	<b>1928</b>
<b>Гайсиня Вия Яновна</b>	<b>1940</b>	Гедровска Майга Мартиновна	1926
Гайсиньш Гунарс Янович	1935	Геньгерис Андрейс Карлович	1940
Гайсиньш Янис Янович	1934	Георгиади Михаил Михайлович	1931
Гаевская Евгения Иосифовна	1939	Георгиади Николай Михайлович	1926
Гаевская Раиса Иосифовна	1930	Герхарде Эрика Карловна, род. в ссылке	16.11.41
Гаевская Зинаида Иосифовна	1938	<b>Герхарде Рута Карловна</b>	<b>1926</b>
Гаевский Михаил Иосифович	1926	Герхардс Эгонс Карлович	1933
Галецкий Виктор Иванович	1928	Герхардс Янис Карлович	1939
Галвиньш Карлис Эйженевич	1934	Герхардс Ралфс Леонидс Карлович	1932
<b>Гамза Бася Ароновна</b>	<b>1932</b>	Герхардс Валдис Волдемарс Карлович	1933
<b>Гамза Исхак Аронович</b>	<b>1937</b>	Гершимска-Ешинска Раута (Бригита) Эмильевна	1937
Гарбанс Янис Карлович	1940	Гец Ребекка Рива Хиршевна	1925
Гариёне Анастасия Екабовна	1929	Гибало Алфредс Янович	1929
Гариёне Бонавентура Екабовна	1933	Гибиеце Ингрида Гунта Адольфовна	1936
Гариёне Луция Екабовна	1930	Гибиеце Визма Адольфовна	1940
Гариёне Мария Екабовна	1935		

<b>Гига Алма Микелисовна</b>	<b>1929</b>	<b>Гравитис Илмарс Альбертович</b>	<b>1936</b>
<b>Гига Карлис Микелисович</b>	<b>1938</b>	Грантскалнс Дайнис Видевудович	1940
Гига Вилнис Микелисович	1932	Грапманис Иварс Аугустович	1940
Гинцбурга Ася Заламановна	1928	Грасмане Индра Готхардовна,	29.09.41
Гинтере Юсма Милда Робертовна	1940	род. в ссылке	
Гитес Хана Хаймовна	1926	Граудиня Бирута Рудольфовна	1932
Глазер Бено Хиршевич	1928	Граудиня Эдите Пауловна	1940
Глазер Екабс Берович	1926	Граудиня Яусминя Рудольфовна	1935
Глезер Хая Борухович	1935	Граудиня Майя Пауловна	1937
Глезерс Абрамс Борухович	1938	Граудиня Скайдрите Эрика Жановна	1937
Глик Лия Иудовна	1935	Граудиньш Андрис Паулисович	1930
Глик Мозус (Мойтанс) Иудович	1936	Граудиньш Арвалис Эдуардович	1928
Глудиня Грация Арнольдовна	1937	Граудиньш Дайнис Эдуардович	1925
Глудиньш Янис Арнольдович	1940	Граудиньш Иварс Жанович	1939
<b>Гоба Бригита Визбулите Пауловна</b>	<b>1938</b>	Граудиньш Янис Рудольфович	1937
<b>Гоба Зигрида Пауловна</b>	<b>1928</b>	Граудиньш Екабс Екабович, род. в ссылке	1942
Гобземис Янис Андреис Юрьевич	1936	Граудиньш Зигфридс Рудольфович	1929
Гобземис Юрис Валдис Юрьевич	1939	<b>Грашиня Рута Эдуардовна</b>	<b>1940</b>
Года Лидия Эрика Давидовна	1935	Грашиньш Юрис Эдуардович	1937
Годс Илгонис Давидович	1940	Гребежс Иванс Язепович	1937
Гожа Дзинтра Альбертовна	1939	Гредзенс Таливалдис Янович	1938
Гожа Элга Альбертовна	1937	Грейн Илья Лейбович	1929
Голандская Фрида Мейеровна	1938	Гренце Лина Яновна	1925
Голвере Бирута Оскаровна	1929	<b>Гржимало Хелена</b>	<b>1924</b>
Голвере Ренате Оскаровна	1931	Гржимало Терезе Игнатовна	1927
Голверс Янис Оскарович	1937	Григанс Янис Янович	1935
Голдмане Бася Файвишевна	1938	Григоре Инта Яновна	1934
Голдманис Айнис Волдемарович	1941	Григоре Райта Яновна	1936
Голдманис Арвидс Карлович	1925	Григоре Вита Яновна	1938
Голдманис Гунвалдис Волдемарович	1938	Григуле Майя Вилисовна	1939
Голевска Вия Альбертовна	1931	Грике Расма Яновна	1925
Голевскис Янис Альбертович	1928	Гринберга Айна Арвидовна	1929
Голубева Анастасия Ивановна	1937	Гринберга Аустра Микелевна	1931
Голубев Иван Иванович	1938	Гринберга Бирута Кристаповна	1931
Гонестова Людмила Ивановна	1925	Гринберга Дзидра Кристаповна	1930
Гонестова Нина Ивановна	1931	<b>Гринберга Инта Беняминовна</b>	<b>1937</b>
Гордон Фрида Шломовна	1929	<b>Гринберга Мирдза Яновна</b>	<b>1931</b>
Гордон Хая Шломовна	1932	Гринберга Нора Арвидовна	1932
Гордон Роха Шломовна	1925	Гринберга Силвия Астрада (Ливия) Фридриховна	1929
Готардсоне Бригита Эдвиновна	1935	Гринберга Скайдрите Яновна	1939
Готлиб Бейта (Белла) Абрамовна	1925	Гринберга Спидола Яновна	1929
<b>Гравите Вента Альбертовна</b>	<b>1938</b>		

Гринбергс Арвидс Кристапович	1933	Гругуле Элеонора Адамовна	1933
Гринбергс Магнусс Кристапович	1932	<b>Гругуле Рута Адамовна</b>	<b>1937</b>
Гринбергс Эдгарс Фридрихс Фридрихович	1930	Гругулис Виталийс Адамович	1930
Гринбергс Гунарс Арвидович	1931	Грунде Астрида Екабовна	1928
Гринбергс Гунарс Кристапович	1935	Грунде Янис Екабович	1933
Гринбергс Гунарс Микелисович	1937	Грундманис Алфредс Андреевич	1927
Гринбергс Имантс Карлович	1931	Грундманис Гунарс Андреевич	1934
<b>Гринбергс Янис Андреевич</b>	<b>1935</b>	<b>Грундманис Леонардс Эрнестович</b>	<b>1939</b>
Гринбергс Янис Арвидович	1934	<b>Грундманис Вилнис Эрнестович</b>	<b>1934</b>
Гринбергс Карлис Имантс Карлович	1933	Грундспеньке Рута Яновна	1940
Гринбергс Микелис Беньяминович	1936	Грундспеньке Скайдрите Яновна	1938
<b>Гринбергс Улдис Андреевич</b>	<b>1937</b>	Грундулис Дайлонис Карлович	1927
Гринбергс Волдемарс Карлович	1927	Грундштейнс Янис Айварс Янович	1936
Гринвалде Илга Аугустовна	1931	Гуда Берта Казимировна	1941
Гринвалде Велта Аугустовна	1925	Гулбе Ауэстра Аугустовна	1926
Гринфелде Айя Яновна	1939	Гулбе Хелга Фрицевна	1925
<b>Гринфелде Ауэстра Рудольфовна</b>	<b>1931</b>	Гулбе Ирма Карловна	1931
Гринфелде Даце Георгиевна	1940	Гулбе Вайра Карловна	1932
Гринфелдс Аугустс Рудольфович	1930	Гулбе Велта Карловна	1928
Гринфелдс Вилнис Янович	1934	Гулбе Вия Карловна	1930
<b>Гринхофа Дзидра Анна Алида Андреевна</b>	<b>1926</b>	Гулбис Артурс Карлис Карлович	1928
<b>Гринхофа Яутрите Андреевна</b>	<b>1931</b>	<b>Гулбис Арвидс Людвигович</b>	<b>1931</b>
Грислис Эдгарс Эдуардович	1927	Гулбис Юрис Карлович	1937
Грислис Эрнестс Эдуардович	1927	Гулбис Витаутс Карлович	1934
<b>Гришане Беате Петеровна</b>	<b>1928</b>	Гулмане Зайга Альфредовна	1939
Гришане Бирута Антоновна	1939	Гуревич Илья Барович	1933
<b>Гришане Лигия Петеровна</b>	<b>1936</b>	Гурта Дзинтра Вия Ансовна	1938
Гришане Регина Петеровна	1930	Гурвич Шева Альтеровна	1930
Гродска Регина Эдуардовна	1938	Гурвич Пинхус Альтерович	1925
Гродскис Ромуалдс Эдуардович	1935	Гутин Изя Заламанович	1927
<b>Гросберга Лайма Андреевна</b>	<b>1940</b>	<b>Гутмане Айя Адольфовна</b>	<b>1934</b>
Гросманис Армандс Янис Волдемарович	1938	Гутмане Айна Карловна	1927
Гросманис Юрис Волдемарович	1932	Гутмане Ария Рудольфовна	1937
Гросвалде Алдона Фрицевна	1929	Гутмане Дайла Карловна	1935
Гросвалде Омула Фрицевна	1927	Гутмане Эйжениа Яновна	1926
Гросвалдс Эгилс Фрицевич	1930	Гутмане Скайдрите Карловна	1933
Грохольска Ирина Мечиславовна	1929	Гутмане Велта Карловна	1926
Грохольскис Леонс Мечиславович	1931	Гутманис Андрис Рудольфович	1939
Грубе Иварс Вернерович	1941	Гутманис Гунарс Карлович	1930
<b>Груберте Эрнестине</b>	<b>1927</b>	<b>Гутманис Олафс Индрикович</b>	<b>1927</b>
Гругуле Анна Адамовна	1938	Гутманис Улдис Волдемарович	1930

# ЛИВИЯ ГАЙДЛАЗДА (БАУМАНЕ)

родилась в 1932 году



Вспоминается весна 1941 года, теплая, солнечная: как я, девятилетняя девочка, пасла коров. Я в семье была младшая, старшие братья Освалдс и Харолдс были студентами. Сестра Алиса была уже замужем и жила в Даугавпилсе. Дома оставались родители и мы с братом Арвидсом. Окутанные цветами и ароматами, текли июньские дни, и ничто не предвещало приближающейся трагедии. Лишь в правлении Тилжской волости в это время составляются списки высылаемых семей.

В то утро, 14 июня 1941 года, я на опушке леса пасла коров. Родители были дома. Брат Арвидс ушел в церковь, готовился к причастию. На лугу ко мне подошел незнакомый мужчина и сказал, что надо идти домой, так как приехали гости. Зашла в дом, мамочка плачет, отец кидает в мешок вещи, продукты, чужие торопят; вскоре привели и Арвидса. И последнее прощай дому, знакомым тропинкам, ничего не понимающей собаке, которая заходится лаем. Последний раз наша лошадь отвезла вещи до дороги, где уже ждала грузовая автомашина с такими же несчастными. Отец, думая, что жить мы будем вместе, все вещи взял с собой, чтобы жене и дочке легче было войти в вагон. И мы обе остались и без одежды, и без продуктов. Только позже Арвидса привели обратно, разрешили взять у отца одеяло и подушку.

И начался бесконечно далекий и безрадостный путь. На какой-то станции состав долго толкали, потом только стало известно, что это отцепили вагон с мужчинами. Куда их увезли, никто не знал. По дороге поезд стоял в Даугавпилсе, брат бросил записку сестре Алисе, написав ее адрес. Человек, который поднял записку, передал ее Алисе, но когда она пришла на вокзал, поезд уже ушел. На какой-то станции отца при-

вели к нам в вагон попрощаться; и он понял, что мы никогда больше не увидимся, он так плакал, но не додумался принести нам хлеба и кусок копченого мяса. О судьбе отца я узнала только в 1990 году – умер он в 1942 году в Свердловских лагерях.

Сибирь встретила нас неласково, на станции Ададым-Назарово высадили на огромной площади, все сидели на своих узлах; кто-то оказался умнее, многие семьи захватили с собой сало, одежду. Только мы в чем стояли, в том и поехали, ничего с собой не было.

Потом понаехали из колхозов, фуру тащили две лошади. И как на торгах посадили нас и повезли, на дороге грязь, возницы обгоняют друг друга, и кто-то сказал: «Везут в ад». В колхозе все сидели во дворе детского сада, нас покормили пшенной кашей, и местные стали выбирать семьи, так как жить надо было у местных.

Так началась наша жизнь в колхозе Сюттик. Взрослые ходили на работу, какие-то граммы хлеба давали – насытиться им нельзя было, работа тяжелая, мужчины в армии, одни женщины и дети. У местных корова кормилица, в огороде картошка, овощи. Все же и нам не давали умереть с голоду, подбрасывали картофелину-другую.

Взрослые на работе, мы бродили по окрестностям в надежде найти какую травку, где-то стащим брюквину, поделим на кусочки.

Колхозное огуречное поле охранял сторож. В Сибири можно было есть стебли баранчиков, вы-

копать в кустах луковицы лилий, варили крапиву, лебеду. В голове одна мысль – что бы съесть. В первое лето многие варили суп из лебеды, крапивы, домашнее мясо еще оставалось. У нас не было ничего. Трудно нам было,

*Сибирь встретила нас неласково, на станции Ададым-Назарово высадили на огромной площади, все сидели на своих узлах...*

у кого была одежда, те меняли на продукты. Арвидс заготовил и привез дрова хозяйке, она что-то дала за это.

Летом взрослые уезжали на луга, косили сено, метали стога; потом мы, дети, на лошади свозили копны в одно место. Арвидсу приходилось трудно на голодный желудок, работа была тяжелая. Зимой латышки стали вязать местными красивые белые шерстяные платки, кофты, носки, рукавицы. Местные не умели пятку вывязать. Моя мама тоже вязала, за работу давали картошку, молоко.

Взрослые относились к нам нормально, разве что подростки донимали. Несколько семей жили в одном доме. Когда взрослые были на работе, подростки приходили ватагой, пугали нас, колотили в дверь, в окна, разглядывали нас в окно. Мы дрожали от страха, забирались под кровать. Нас дразнили: «Латыш, куда летишь, под кровать, говно клевать», продолжалось это долго.

В Сибири безжалостно относились к лошадям. Их били толстыми, сплетенными из ремней кнутами. Били страшно. Однажды, когда лошадь застряла в грязи и не могла вытащить воз, ее били до тех пор, пока вся морда ее не покрылась пеной, и она задохнулась. И тогда мы, латыши, приходили, отрезали куски и ели это мясо.

У русских был какой-то праздник на кладбище, тогда они делили кашу ложкой, у кого-нибудь был с собой и пирожок. Мы, дети, тоже становились в очередь, но нам не доставалось, видно, делили среди тех тетюшек, которые молились Богу.

Жизнь была трудная, одна мысль – что бы съесть, где бы достать. Зимой было особенно трудно. Как-то мама, возвращаясь с работы, насыпала в карман зерна, идет, а навстречу начальник. Она от страха метнулась в кусты, высыпала все в снег, долго не приходила домой, думала, что начальник ждет ее на дороге, чтобы посадить в тюрьму. Потом-то уж присмотрелась, как делают местные женщины. Пришла к штанам подкладку. Зимой посылали в амбар перелопачивать зерно, чтобы не горело, чтобы сохло. Так женщины перед тем, как идти домой, садились на кучу, и зерно через карманы сыпалось за подкладку. Так что жизнь всему научит. Там стерню на поле сжигали, тогда пшеничные колосья легко было собирать, но не разрешалось. Все время приходилось оглядываться: появится вдалеке черная точка, мы сразу же в кусты, прискочит на лошади, посмотрит – никого нет, ускачет обратно. И только поздно вечером мы возвращались домой.

Брат Арвидс ухаживал за лошадьми, ему выделили жилье там же, на работе. Я ходила за хлебом, выстаивала в очереди, и меня так давили, что я падала в обморок, а обратно в очередь не пускали, и приходила я домой ни с чем, а брат сердился. Случалось, летом заставляли пасти свиней. Однажды две свиньи пропали, ну и шуму было! Не знаю, чем все закончилось.

И нас коснулось несчастье. Брата увезли, долго не знали, где он. Мама ходила к гадалке, та сказала, что жив. Без брата нам совсем было трудно. Я ходила на работу, зимой кормила скотину, но нас выкинули из казенной квартиры, жили у какой-то женщины. У нее был свой дом, земля, помогали ей заготовить сено для коровы. Впрягали лошадь в двухколесную тележку, она и сено привезет, и дровишек. Я таскала хворост каждый день, когда шла с работы. Бывали случаи, когда местные мальчишки отнимали у меня хворост, раскидывали. Зимой забивали свиней, можно было поскоблить кожу, чуть-чуть жира набиралось. Посадили картошку. Потом-то оказалось, что жившие на другой половине дома из своего погреба прорыли ход и тащили картошку, как крысы. Больше картошку в погреб не выносили. Матушка Силиныш была поумнее, она в погреб ничего не ставила.

Иногда на базу сдавали овец, которых можно было подоить, сварить кашу, шерсть пощипать для носок. Летом послали нас пасти скот далеко от дома, ночью спали в землянке – мы с мамой, еще одна женщина, старичок, который ночью сторожил скот от волков. Мама разоила яловую корову, молока она давала немного, но надоенное делили, по кружке выходило. Ели еще не готовую черную смородину. Потом пришла пора земляники. Коровы ночью находились в выгородке.

И еще одна беда – одолели нас вши, и в голове, в одежде. Прятались в кусты, снимали с себя все, счищали лучинкой. Когда жили у местных, вшей не было – мы ходили в баню, из золы делали щелок, мылись им вместо мыла, и волосы мыли щелоком. От камней жар, над ними и прожаривали одежду. Еду выдавали на неделю, хватало на несколько дней. Еду привозил старичок сторож, запрягал корову. Как-то я попросила сторожа, чтобы отпустил меня за продуктами, хотела повидать подружку Айну Пакалане, они жили вдвоем с матерью. Ну, он меня отпустил, поехала я на той корове, после обеда собралась домой, а мать подружки говорит – обожди, жарко еще, корова беситься начнет. Но я должна ехать, корове пастись надо. Проехали немного, корова давай метаться, помчалась

по пашне, коляска по воздуху, вырвалась, убежала, хорошо, что фура не опрокинулась. Вернулась я, дали мне другую корову, домой доехала.

Осенью собирали черную смородину, пироги там пекли с ягодами черемухи, со всеми косточками. Зимой на работу ходила я, на двоих одежды не было. Скот туда сгоняли со всей округи, частники должны были сдавать, колхозы должны были сдавать. Околевавших забивали, которые могли идти, тех гнали в Ачинск. Одно лето отправили в Ачинск со скотом меня, Айну, инвалида с сыном и еще одну женщину. В стаде были коровы, телята, овцы, тащила повозку корова. Мужчина и женщина сидели на возу, гнали стадо мы, дети, гнали весь день. К вечеру остановились ночевать посреди поля. Согнали скот, мы сторожили, взрослые легли спать. Мы тоже заснули, проснулись – подопечные наши разбрелись. Нам, детям, по десять лет, что мы можем. Так всех и не нашли. Погнали дальше, по пути попало село, загнали во двор, можно было выспаться. Когда кончились продукты, размешивали в воде муку, это и ели. В дороге женщина нащипала от овец шерсти, продала в городе, что-то купила, нам с Айной достались ситцевые платья. Через Чулым надо было переправляться на пароме, а борттик – одна-единственная доска, можно и в реку упасть. Согнали стадо, повернуться негде, и меня со стадом, чтобы на том берегу могла пасти, пока остальных не перевезут. Посреди реки бычки стали бодаться, страшно было, как бы в реку не столкнули. Пробралась я подалее от края, нескольких телят столкнули, но они плыли за паромом, только мордочки торчали. Счастливо перебрались на другой берег. Дорога шла через тайгу, и вдруг огромный баран помчался за мной, я бегом, спрятаться за деревом, а он так поддал мне под зад, что я упала, хорошо, за деревом спрятаться успела, но большой палец на руке вывихнула. Наконец сдали стадо. Не под отчет, отбившихся так и не смогли найти. Возвратились домой, и у того мужчины забрали под отчет последнюю корову, семья осталась без молока – четверо детей, он отвечал за перегон стада. Он был инвалид войны. Сам, мол, виноват, мог кто-то из взрослых и не спать в ту ночь. Хотел выспаться за счет детей. Нам ничего не было, с нас, несовершеннолетних, и взять было нечего.

Осенью собрали картошку, я осталась, мама пошла просить, чтобы Янис привез картошку домой, но возчика не нашла, вернулась, когда совсем уже стемнело, мама найти меня не может, кричала, звала, а я так крепко спала, что ничего не слышала. Мама в отчаянии – вокруг кустарник, там волки, побежала

обратно за помощью. Уговорила Яниса, конюха, он меня быстро нашел.

Бились за жизнь, колоски подбирали – если поймают, собранное на землю, лошадь все растопчет, пусть лучше сгниет, но брать не разрешалось. Зимой ездили за углем, в сани запрягли быка, на санях огромная корзина, тонны три можно было привезти. Взрослые грузили быстро, а я, пока насыплю, уже вечер, темно. Еду, бык идет медленно, дорога разъезжена, воз тяжелый, корзина с воза соскользнула, хорошо, что недалеко от села. Поехала домой, корзина на дороге осталась. Доехать не успела, смотрю: два волка недалеко от дороги. И волков боюсь, и домой идти боюсь. Но волки меня не тронули, пришлось идти домой и рассказывать все маме. Она пошла сторожить корзину, чтобы уголь не растащили, назавтра перетаскали в дом. Был случай, когда волка застрелили в свинарнике.

Вызвали маму в милицию, говорят – «бабушка», можешь ехать к сыну. Арвидс получил разрешение забрать нас к себе.

Мама нажарила драников, сложила все пожитки в мешок, сговорила с грузовой машиной, что та отвезет нас на станцию. И мы отправились к брату. Подошел поезд, а народу видимо-невидимо, и все с мешками. Мама пробралась, а меня оттолкнули, и осталась я на перроне. Мама кричит: «Ребенок остался!», тогда проводница меня впустила, а маме сказала: «Если ты, бабушка, еще кричать будешь, высажу!». Доехали до Красноярска, там была пересадка, один мешок с барахлом мама оставила под мостом, чтобы легче было сесть в поезд.

Дальше ехали без приключений. Добрались до места, где Арвидс жил вместе с поволжскими немцами. Был там еще один латыш – Мускарс. Был и женский барак. Вокруг забор, вход по пропускам. Дождались Арвидса с работы, встреча была радостной. Арвидс сказал начальнику шахты, что приехала мама с сестренкой. Тот пригласил всех вечером к нему, посмотрим, сказал, на твою семью, поговорим. Собрались пойти, на вахте не пропускают, немка говорит – подождите. Тут подъехала милицейская машина, взяли Арвидса и второго латыша. Их было всего двое среди немцев.

Так и остались мы среди чужих, в мужском бараке. На территории шахты была столовая, ходили чистить картошку, нас за это кормили. Нам не платили, только кормили. Потом одна немка сказала маме, что слышала разговор – старуху в богадельню, а малую – в детский дом. Это был удар, слезы. Мама рассказала



*Отец Петерис*

заведующей столовой, та знала Арвидса, она была латышка, в Россию приехала давным-давно, дочка ее латышского языка не знала. Рассказала мама, что Арвидса арестовали, и она над нами жалилась – взяла к себе в дом. А дом из одной комнатки и кухни, даже коридора не было, жили там дочь с зятем, внук шести лет, но никто из них не возражал, приняли нас, и спали мы возле двери на полу. Потом брата в Кемерово судили. Мы жили в восьми километрах от Кемерово, на шахте «Пионер». Суд был за закрытыми дверями. Семеро немцев свидетельствовали, что Арвидс сказал: «Эх, хорошо раньше жилось в Латвии, как трудно здесь уголь добывать». За эти слова Арвидсу дали восемь лет, второму – шесть. Хотя второй и не говорил ничего. После суда разрешили увидеться. Так мы и остались без братниной опеки. Пошли домой, темень, восемь километров по рельсам.

Арвидса отправили в лагерь, из Кемерово туда можно было доехать на поезде. Хозяйка дала буханку хлеба, вареной картошки в мундирах, брату отвезти. И я поехала. Все, кто приехал, ждали до вечера, когда их с работы поведут. В толпе увидела брата, увидеться не смогли, посмотрели друг на друга издали, узелок я отдала конвойному. В тот же день обратно не уехать, надо ждать до утра. Приютила меня местная женщина, накормила, утром проводила на поезд. Местные были люди отзывчивые. Так я несколько раз ездила к брату. Потом Арвидса отправили в другой лагерь, ездить я больше не могла, и не виделись мы долгие годы. Вероятно, поволжские немцы сердиты были на Арвидса, что ему семью раз-



*Мать Элина*

решили привезти. Арвидс на шахте работал хорошо, начальник дал бы ему квартиру, все было бы хорошо, если бы не эти предатели.

Паспортов нам, как высланным, не полагалось, но здесь ссыльных не было. Наша хозяйка сказала милиционеру: у меня живет «бабушка», она паспорт потеряла, и тот выписал маме временный паспорт на шесть месяцев, через шесть месяцев выдаст постоянный.

Хозяйка дала фланелевую одежду, чтобы продала в Кемерово за 270 рублей. Приехала я на рынок, повесила на руку, хожу, останавливает женщина, на плечах у нее большой платок, пощупала. Как только подошел еще человек, она покупать раздумала, а как только я осталась одна – подошла, куплю, мол. Дает мне три новенькие сотни, сдачи не надо. Я рада – мне еще 30 рублей достанется. Приезжаю домой, вытаскиваю – три старые десятки. Мама меня ругать – не умеешь деньги считать. А соседи говорят – так бывает, один корову продавал, взял деньги, а домой приехал, оказалось, бумажки. Она меня загипнотизировала. С тех пор я с цыганами не разговариваю. Я зарабатывала 360 рублей, и деньги за вещи мне надо было вернуть.

1947 год. Хозяйка говорит – война кончилась, поезжайте домой. Я взяла отпуск, мама выписалась. Хозяйка купила нам билеты до Москвы, деньги скопились с моей зарплаты. Посадила нас в поезд, в Новосибирске пересадка. Просидели на вокзале, на полу две недели, в поезд не сесть, столько желающих. Мама сидела на вещах, я бегала в поисках еды, да и

город посмотреть хотелось. Мама все боялась, что я заплутаю; встала посмотреть, не иду ли я, тут же мешок из-под нее утащили. Там были сухари. Пришлось покупать еду. Никак не могли прокомпостировать билеты, потом оказалось, что нужно идти в баню, на билете должна стоять отметка, что вымылся.

Мама всего боялась, сидела на вещах. Жаль было украденного узла, там еще и одежда была, хозяйева отдали, чистую, хорошую, хоть и ношеную.

Билеты у нас были на пассажирский поезд, но в результате ехали мы в товарном вагоне, даже без нар, еще хуже тех, в которых нас в Сибирь везли. В Москву приехали грязные, как свиньи. Из Москвы уже ехали пассажирским поездом. В Резекне были в августе 1947 года. Как услышали латышскую речь, так слезы от волнения на глаза навернулись. Поезда до Карсавы надо было ждать до вечера, но нам не терпелось, и мы пошли пешком, 40 километров шли, узлы на палке несли. Сколько-то подвезли нас на лошади. Мама по пути зашла в дом, попросила кусочек хлеба, дали нам, сверху творог положили, сели мы на обочине дороги, послали. И пошли даль-

ше, пришли к родственникам, и поезд подошел в это же время. Через день отвезли нас к маминой сестре Милде. Дедушка еще был жив, но ослеп, нас не видел, только ощупал. Бабушка, умирая, завещала свою одежду маме, так что ей было, что надеть. Бабушка все надеялась, что дочка вернется. Милде было трудно – большие налоги, иной раз и хлеб не из чего было испечь, все сдавала. Поехала я к сестре в Гауиену. Милда дала сукно, родственники пошили. Так что в первую зиму мне в платье тепло было. Здесь тоже было нелегко, но муж сестры, партийный, сказал, что не может содержать высланную. Поехала к брату агроному, жил он под Валмиерой, и там не было мне места, пошла работать в совхоз, дали комнатку. Арвидс отсидел восемь лет, но домой его не пустили, держали в Сибири, в Хакасии. После смерти Сталина я попросила одну учительницу, чтобы написала в Москву, что Арвидс ни в чем не виноват. Удивительно, но его отпустили, была радостная встреча, но приехал он какой-то желтый. Женился, родилась дочка. Но радость была недолгой, пожил пару лет и в 1959 году умер от рака.



*Ливия с матерью Эминой. 1949 год*





## ГУНДАРС ГАЙЛИТИС

родился в 1928 году

Я родился 17 сентября 1928 года. 14 июня 1941 года для всей семьи оказался тяжким, роковым днем, когда и в окна, и в двери постучали вооруженные люди и в полумраке утра вошли в дом, приказали одеться. Мама попросила их выйти, чтобы можно было, по крайней мере, одеться. Никто, конечно, никуда не вышел. В соседней комнате спал брат, последнюю ночь после перенесенного воспаления легких, ему предстояло возвращаться в Ригу. Его даже не было в списке высылаемых. Вошли и спросили, кто это. Уважаемый Межапуке, убийца лиелвардцев, сказал: «Внесите!» Так он и поехал, и впоследствии нигде не появился – ни в документах умерших, ни в документах высланных. В 1942 году его призвали в трудовую армию, и он умер от воспаления легких – где похоронен, не знаем, следов отыскать не удалось. Как неизвестно ничего и об отце – в Вятлаге... Кировская область, Ждановский район, какой-то Вятлаг... Умер 15 июля 1943 года. Последний раз я видел отца, когда садился в Лиелварде в вагон, – он оставался нестигаемым...

Так мы с мамой и братом попали втроем в Назарово, фактически в тайгу. Потом из тайги в колхоз. Там, еще ребенком, встретил свою будущую жену, и с четырнадцати лет мы вместе. В 1941 году отец уже был пенсионером, подрабатывал бухгалтером в Лиелвардском волостном правлении. Он окончил Тартуский университет как теолог, священник – один из первых латышских священников в Пиебалгском крае. Во время войны беженцем оказался в Крыму, там руководил комитетом латышских беженцев, потом был представителем Латвии в России – когда Латвия стала самостоятельной. Организовал возвращение беженцев в Латвию. В Латвии работал в департаменте Министерства иностранных дел, был министром образования, директором 1-й Рижской гимназии. В

последние годы, с 1936-го, был в Лиелварде священником. Был редактором молодежного журнала, президентом Красного Креста со дня его основания до того момента, когда русские эту организацию закрыли. И везде он пользовался большим уважением. Каждый год в день смерти отца – 19 июля – в Лиелвардской церкви, которая в свое время была восстановлена из руин его усилиями, проводится богослужение, посвященное его памяти. Когда-то президент К. Улманис подарил церкви все ее внутреннее убранство. Друг отца, Карлис Миесниекс, с которым они были знакомы еще со времен Пиебалги, написал алтарную картину – все это по-прежнему здесь. Лиелварде для всей нашей семьи остается святым местом. Пятидесятилетие нашей с женой свадьбы мы отмечали в Пиебалгской церкви.

Помню скученность в вагоне, двухэтажные нары, страшную дыру из белых досок – трубу, которую мы обтянули простынями. Вначале нечего было есть, когда переехали границу, раздалась команда: «Кипяток!» – и следовало идти с ведром за горячей водой. И так было на всех русских станциях. Воду давали кипяченую, очевидно, чтобы не завелась какая-нибудь хворь. Давали пшеничную кашу, поверху было налито растительное масло. Теснота была страшная, дышать нечем, никто не знал, куда везут. Вначале еще наивно надеялись – может быть, окружат, не дадут увезти. Может быть, освободят все-таки. Наивные надежды на освобождение у многих теплились еще и в России. Когда отправляли на Север, отправляли в небытие, многие, в том числе и я, побежали в комендатуру спрашивать – почему не

взяли нашу семью? Была надежда, что это будет корабль свободы, который с севера увезет нас в Латвию. Корабль свободы отправился на небеса, из тех, кто уехал на Север, в живых осталось ничтожно мало.

*В России нас высадили на станции Ададым. И стали приходиться покупателями, набирать рабов. Кто никому не пригодился, тех отправили на лесоучастки, в Таможенку.*

Первый раз открыли двери во время поездки уже за Уралом, в лесу, состав остановился, и всем разрешили выйти. Поразила удивительная природа. На насыпи росли лилии, орхидеи. И было странно – такая прекрасная природа и такие жестокие люди. Но не все были такими... Жестокими были подручные, и кое-кто даже не сознавал, что делает. И сегодня следует сказать – Боже, прости тех, кто не ведает, что творит. Но простить трудно.

Вы помните, как выглядели те, кто пришел вас арестовать, кто они были по национальности? Одного я даже знаю. Его двоюродная сестра жила напротив, она и сейчас живет в Лиелварде. Солдатики были из восточных народов, в буденовках, с винтовками. Когда нас усадили в машину, они разместились в углах. Самого главного – Рудиса Межапуке – знаю очень хорошо. Если бы он и после войны дольше прожил, лиелвардцам не избежать было бы и 1949 года, но жители сами его и убрали. И благодаря честному и порядочному Каулиньшу, отцу, как его называли, в 1949 году из Лиелварде не выслали ни одного человека. А в 1941 году жителями Лиелварде набили два полных вагона. Я, например, совершенно не понимаю, что плохого мог сделать мой отец, которому в 1941 году было 72 года – старый человек, пенсионер, учитель, священник, никогда никому ничего плохого не сделал, но вот кому-то не понравился. Но народ сохранил о нем добрую память.

В России нас высадили на станции Ададым. И стали приходиться покупатели, набирать рабов. Кто никому не пригодился, тех отправили на лесоучастки, в Таможенку. Так и мы оказались там – в горах, в диком месте. Чтобы спустить бревна вниз по обрыву, связывали их, и катились они, как колеса. Жили в бараке, выдавали дневную норму хлеба. Работали на сплаве леса, и никто не считался, есть у тебя на это силы или нет. Зимой, разбирая заторы, проваливались, иногда везло – выбирались, выплывали. Если кого-то затаскивало под бревна, спастись никакой надежды не было. Осенью, когда сплав заканчивался, отправили нас в колхоз. Не оставили ни женщин, ни детей – толку от них не было никакого. Колхоз находился километрах в 20 от Таможенки, где мы жили. Не могу не рассказать об одном моменте в Таможенке – километрах в трех вверх по течению реки тянулся забор, за ним полуразвалившиеся строения и пулеметная вышка. Местный человек рассказывал, что туда в 1939 году привезли польских офицеров. Их не расстреливали – просто раздели до белья и оставили на сибирском морозе. И они замерзли. Кто решился бежать, тех застрелили. На всех осинах, что росли вокруг, остались наросты на месте пуль. Так там действовали.

Выжить помогло невероятное желание возвратиться в Латвию, на землю отцов, желание выжить. Безусловно, и голос второго человека, его дружеская рука. В 1950 году мы поженились, в ссылке провели вместе девять лет. Два года назад она подняла меня с постели, когда рижские врачи подписали мне смертный приговор и привезли меня домой на носилках, умирать... Благодаря жене, благодаря цесисским врачам я сегодня двигаюсь и кое-что делаю. У мамы, когда ее увезли в Сибирь, уже тогда было плохое здоровье. Она еще в латвийское время переболела ревматизмом, полиартритом, лечилась в Кемери, грязями, ей надо было продолжать лечение. В 1940 году это уже было невозможно. Так мама и уехала, пилила на морозе дрова, жила в хлеву, выполняла самые разные работы. Когда перебрались в Назарово – в 1943-м, в 1944 году – стало немного легче, по крайней мере, в тепле, работала вязальщицей. Там многие пожилые дамы занимались вязанием. Полиартрит разрушал руки и ноги, лекарств не было. Так мамина мечта и не осуществилась – умерла она в 1957 году. Мы возвратились в Латвию в 1958-м.

Там и похоронили, обнесли могилку заборчиком, чтобы скотина не растоптала. Потом появилась возможность туда поехать и эксгумировать тело, перевезти – за это я должен благодарить жену, потому что это она меня «настроила» – надо ехать. Мы привезли маму на Цесисское кладбище. Там теперь надгробие и общая надпись на несуществующей могиле – моего отца, отца Арии и моего брата, могилы которых никогда уже не найти. В памятные дни мы приезжаем, возлагаем цветы.

Немного юмора – цветастые штаны моей жены, которые сшили ей из коричневого цветастого одеяла, так мы и познакомились. Я тоже красавцем не был – надо было отправляться на зимние работы, а зимней шапки не было. На голове фуражечка Рижской 48-й основной школы, а поверху вязаный желтый платок. Так мы там ходили. Юмора, конечно, было мало, еды не было. В Назарове вокруг дома были съедены и крапива, и лебеда, не надо было ни полоть, ни косить. Когда стали постарше, ходили в клуб, в дом культуры. Веселья в жизни не было, но были знакомые. Помню Рождество, которое устроила госпожа Стоне. Она вокруг себя всегда собирала молодежь.

Мы решили пожениться в 1950 году. Ей был 21 год, мне 22, жили в одном селе, рядом. Знакомы были с самого начала, вместе ходили в вечернюю школу. Женихались долго. В тех нелегких условиях дружба, верность имели огромное значение. Летом я ходил помогать ее маме.

Вуз я окончил заочно, было все не так просто – чтобы ехать сдавать сессию, приходилось заранее испрашивать у коменданта разрешение. Случалось, что разрешение запаздывало, надо было идти на риск, ехать на свою голову. В институте никто ничего не говорил, там было спокойно. Заместитель директора тоже был из сосланных. Сначала поехал я в Абаканский институт, прослушал одну лекцию, которую читал специалист из Красноярска, забрал документы и отправился в Красноярск. Окончил Красноярский институт в 1956 году.

Когда возвращались домой, я в вагоне топил печурку лучинами и варил кашу. Приехали. Ехали как важняки, в купейном вагоне. Я грузил лес, был учеником столяра, работал в деревообрабатывающем цеху, мастерил бочки, сани. Был и учителем.

Можете считать меня ретроградом, человеком с устарелыми взглядами, но я считаю – если человек не знает своего прошлого, не ценит своих предков, – а ценить их он может только в том случае, если знает, за что надо ценить, – жить ему будет трудно. Я считаю, что историю надо знать, воспоминания записывать. Когда этих людей уже не будет, начнут искать их днем с огнем. Историю надо знать, надо учить. В нынешних школах большим недостатком является слабое патриотическое воспитание. Мы многое забыли, но, безусловно, появилось и много хорошего. Как учитель физики, я переживаю, что мало внимания уделяется изучению естественных наук. Сегодня ученик может окончить школу и в том случае, если он не знает биологию. Простите, но такого человека интеллигентным я считать не могу. Не надо знать на каком-то высшем уровне. Должно быть хоть какое-то представление, не будет его, мы продолжим уничтожать природу. Уничтожаются малые реки, человеку скоро будет негде жить. Забыли о патриотическом воспитании. Кое-где возрождаются отряды мазпулков, скаутов. Но очень малочисленные. Возможно, государственные чиновники от образования должны думать не столько о своих постах, сколько о том, как вырастить молодежь, которая нужна Латвии, чтобы Латвия процветала и не была разграблена. Больно видеть, к чему мы пришли. Хочется напомнить слова одного журналиста ТВ – наше правительство в состоянии только совершать глупости, а потом, как бедная девица, разводить руками – что же теперь делать.

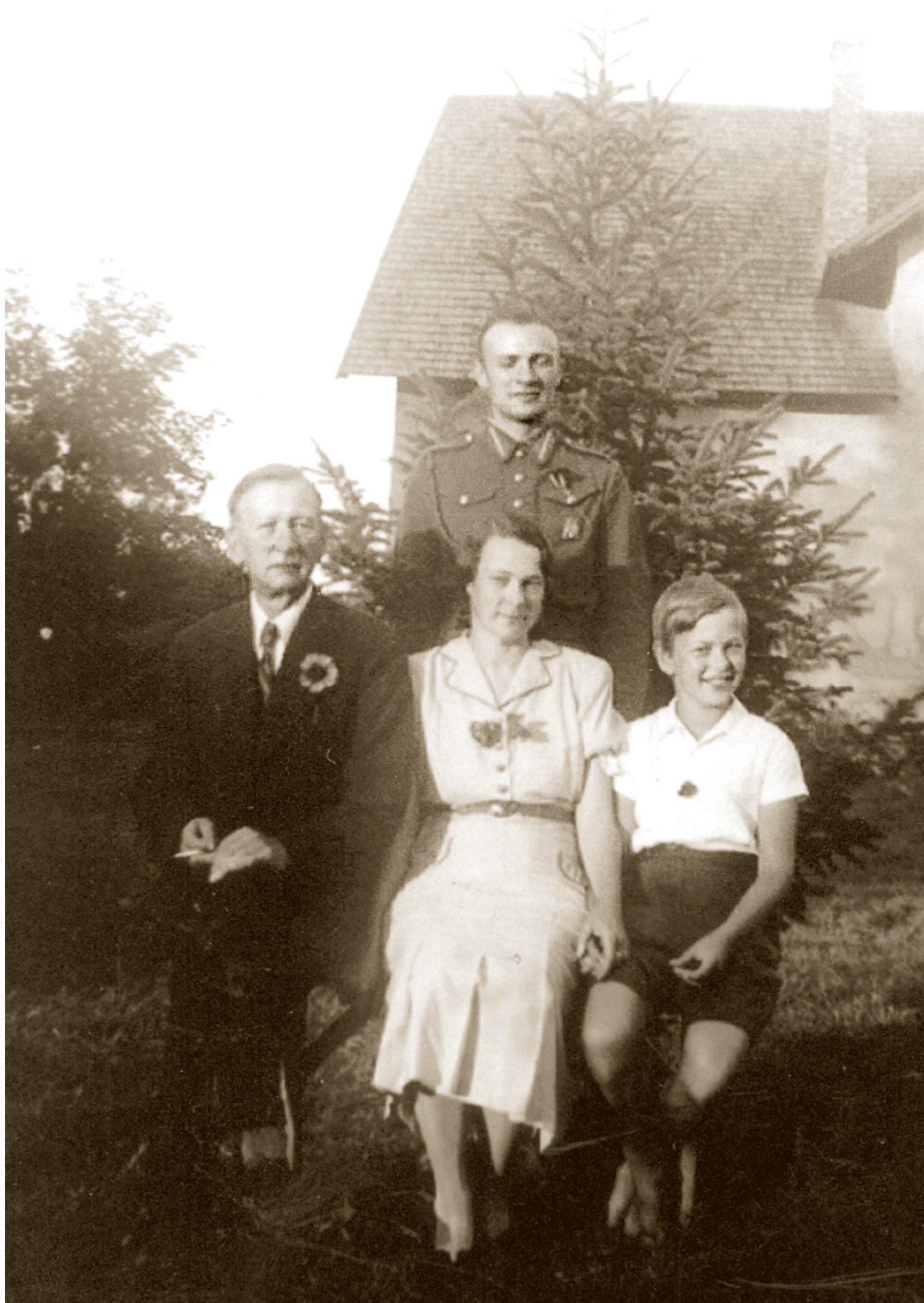
И еще о чем бы хотелось сказать – о памяти.

Говоря о патриотическом воспитании, хочу вспомнить кавалеров ордена Лачплесиса. Им по статусу положено покоиться на Братском кладбище. Понятно,

что большинство покоятся в Сибири. И отец моей жены – кавалер ордена Лачплесиса – умер в Сибири в 1941 году, попросту был уничтожен. С самого начала восстановления свободного государства мы боролись и за восстановление памяти героев. Мы не раз обращались в Кабинет министров Латвии. И вот ответ Арии Цалите от 28 ноября 2000 года – канцелярия Президента ваше письмо получила, оно передано Президенту на рассмотрение, и ваше мнение о восстановлении памяти кавалеров ордена Лачплесиса заслуживает поддержки. Надеемся, что Президент напомнит об этом Рижской думе и правительству, чтобы началась, наконец, работа над проектом места памяти. Согласен, что таким местом могло бы стать Братское кладбище. Но вот уже и 2002 год, но пока не сделано ничего. Этот вопрос обсуждался и на собраниях политически репрессированных. В той стене, у входа на Братское кладбище, вполне хватает места, чтобы выбить на ней имена кавалеров ордена Лачплесиса, которые там не захоронены. В годы советской власти в Саласпилском мемориале были высечены имена всех прошедших через лагерь людей. Могли это сделать! А мы не в состоянии увековечить несколько сотен имен! Очевидно, не хватает времени. Это только один пример того, как правительство относится к тем людям, благодаря которым и существует свободное государство. Свободное Латвийское государство вынесли на своих плечах политически репрессированные и те люди, которые помнили свободную Латвию, кому была дорога память о ней и о которых мы уже не умеем вспоминать.

Те, кто остался в Сибири жить и не вернулся в Латвию, несчастны, так как путь сюда для них закрыт. Латвию они не знают, Латвию своего детства они забыли. Радует только, что в латышских селах говорят по-латышски. Дочери моего двоюродного брата долго пришлось учиться латышскому языку, а когда она уехала, все забыла.

Для меня детство как прекрасный сон... Солнечные дни, дом Лиелвардского священника. В Риге мне пойти некуда, так как людей этих уже нет среди живых. Учился я в 48-й школе, в очень патриотической школе, у нас был флаг, подаренный президентом республики. В 1941 году она стала основной школой для детей русских офицеров. Детство как прекрасные солнечные дни, несмотря на все трудности, переживания, несмотря на то, что в 1940-м и в 1941 году пришлось так много перестрадать. Сейчас, после возвращения, я черпаю тепло и любовь у своей спутницы. Мы вернули дом отца жены в Сели, но он далеко, а чтобы его восстановить, нет уже ни средств, ни сил.



*Слева: отец Паул, мать Ольга, Гундарс и старший брат Витолдс. Латвия*



## ВИЯ ГАЙСИНЯ (СТРЕЛЕ)

родилась в 1940 году

Я, Вия Стреле, родилась 27 октября 1940 года в ужавских «Гайсинях» Вентпилского района. Родители мои занимались сельским хозяйством: отец был старостой Ужавской волости и командиром айзсаргов, мама вела домашнее хозяйство.

Детей было трое: два брата – Янис и Гунарс и я.

В 1940 году, когда пришли русские, нас выселили – дом национализировали. Хотя 65 гектаров не такое уж большое хозяйство. Отца вначале арестовали, потом отпустили. И он остался жить в Вентспилсе у своих родителей, а мама с детьми переселилась к своим родителям в «Керпы», где жила до 14 июня 1941 года.

Когда начали высылать, к отцу пришли ночью и сказали, что его вместе с семьей переводят за границу Латвии, чтобы не мешали строить свободную Латвию. У отца спросили, где семья. Он честно ответил – в Ужаве, на хуторе «Керпы».

14 июня за мамой приехала легковая машина, в ней двое вооруженных людей и шофер. И забрали маму и нас троих. Отвезли в Вентспилс и посадили в вагон. Свекровь узнала, что взяли и невестку, и каждый день приходила к вагону. Приносила молоко, ведь я была грудной. Свекровь принесла папину одежду и еще что-то, потому что мама ничего с собой не взяла.

По рассказам, простояли мы в Вентспилсе два дня, и началось наше путешествие до Красноярска. Оттуда нас увезли в Атаманово, там поделили. Сначала забрали трудоспособных, а мы попали в бедный колхоз. Мне кажется, назывался он «Подсопки». Маму поселили в доме женщины, муж которой находился на фронте. У нее было двое сыновей, один из них болел полиомиелитом. У нее мы прожили, по маминим

рассказам, примерно год. Потом организовался колхоз по выращиванию овощей в Норильске. И тех, кто был покрепче, пригласили туда работать. Мамы среди них не было. Она еще и заболела, а когда поправилась, все уже уехали.

Мама посадила нас всех на санки и притащила в этот колхоз. Латыши ее приняли, и она каждый день ходила на работу. Но ей не платили, так как ее не приглашали. Так продолжалось, по ее рассказам, три или четыре месяца. Латыши подкармливали, чтобы мы не умерли с голоду. Потому что все, что можно было обменять, мы обменяли. Потом одевались только в одежду из мешковины, из рогожи – рубашка из мешка, юбка из мешка. Такие и у меня были, и у мамы, у всех детей.

Вначале все жили в бараках, потом латыши стали рыть землянки. В нашей землянке жили три семьи: Лидия Шнориня с сыном Айварсом и еще одна семья. Прожили мы так до 1946 года, когда мама узнала, что всех, у кого есть родня в Латвии, если она в состоянии принять детей, могут отпустить домой. После войны были большие трудности с хлебом, потому что детям хлеба уже не давали, а работала одна мама.

Мама переписывалась с сестрой и с бабушкой, и в 1946 году нас всех отвезли по Енисею в Красноярск. Собрали в школе для глухонемых. Жили мы там почти месяц, пока не набрали определенное число детей.

Я многого не помню, знаю только, что на меня находили настоящие припадки – хочу к маме, и все. Брат

тогда давал мне белого хлеба – сайку, чтобы я успокоилась. Вероятно, мама дала ему деньги.

И вот на поезде мы поехали домой. Я помню, что в Москве мы остановились, нас погнали в баню, а

*Потом одевались только в одежду из мешковины, из рогожи – рубашка из мешка, юбка из мешка. Такие и у меня были, и у мамы, у всех детей.*

потом переодели. Одежда эта мне годилась до 4-го класса. Я была очень маленькая.

Поселили нас в детском доме возле Засулаукса. Там примерно три недели мы провели в большом зале. Потом за нами приехали мамина сестра и папина мама. Я помню, как утром вошли и спросили: «Где тут Гайсиня Вия?» И я вскочила и сказала: «Я». У них с собой был чемодан с ватрушками, а я повернулась и просила еще одну. Но они боялись маленькому ребенку столько давать.

Помню, как привезли меня домой в деревню. Там было так красиво – яблони, груши. Все, как в настоящем деревенском доме. В 1947 году меня в школу не взяли, потому что родилась я в октябре. Пошла в школу в 1948-м, брат учился в 5-м классе.

На каком языке вы в 1946 году разговаривали? По-латышски я знала «молоко, хлеб, спасибо». Общаться-то я уже могла, а когда нас в 1949 году привезли обратно в Сибирь, русский язык я забыла.

В России я очень тяжело переболела рахитом, ножки кривенькие, живот большой. Крестная водила меня по врачам, на горное солнце, давала рыбий жир, возила к зубному врачу в Вентспилс. Это всегда заканчивалось слезами.

В 1947 году в Ужаве меня в лютеранской церкви окрестили. Мамина сестра была крестной, муж бабушки крестным.

В 1949 году начались колхозы. Крестная в колхоз вступила. Она еще была звеньевая. А бабушка, которой было 72 года, сказала – пусть все забирают, а в колхоз не пойду. Тетушку предупредили – если мать не вступит в колхоз, это может плохо кончиться.

В 1949 году за бабушкой, конечно, приехали, но дочь одну ее в таком возрасте отпускать не хотела. Вот и нам с братом пришлось ехать следом. За нами в школу приехали на грузовике. Я не могла понять, отчего это все плачут.

Посадили нас в вагоны. Мы читали басни Крылова и смеялись. А я удивлялась, отчего это все родители заплаканные. Ужасно было все, связанное с туалетом. Когда останавливались, все садились на корточки, кто как умел. Безразлично, мужчины, женщины, дети. До сих пор эта картина перед глазами.

Привезли нас в Омск. И снова никто нас не хотел брать. Крестной было 47 лет, бабушка и мы, двое детей... В конце концов забрали нас в Шербакульский район, в деревню Ларга. Поселили нас в доме без стен – в Омске все дома были построены из соломы и коровьего навоза. С собой у нас было очень много одеял и подушек, и из них мы соорудили одну стену. А

летом мы с братом и тетушкой месили саман – коровий навоз с глиной – и сами из него построили стену.

С мамой переписывались. Мой первый класс пропал, а брат окончил там 5-й класс на русском языке.

Прожили мы в деревне до лета 1951 года. Я окончила 1-й класс, и из комендатуры пришло разрешение соединиться с мамой, которая жила во 2-м отделении Сухобузинского района Красноярской области.

И в 1951 году мы приехали к маме. Там я окончила 2-й и 3-й класс. А потом во 2-м отделении стали строить русскую военную базу, и нас, всех ссыльных – латышей, калмыков, немцев, – перевели в 3-е отделение. Поселили нас в конюшнях, каждой семье отвели стойло. Прожили там мы до октября. Вокруг были тюрьмы – мужские, женские, всякие... Зона, зона... За лето построили бараки. В каждом бараке было три выхода, была комната и кухня для каждой семьи. Неважно, сколько в семье человек.

Там я окончила 4-й класс, 5-й класс уже в другой деревне. Так я окончила 10 классов, побывав в девяти школах... После 8-го класса тяжело заболела брюшным тифом. Маме никто не давал гарантии, что я выживу. В марте меня положили в больницу, а вышла я только в июле. Детский врач приехал, сказал: «А ты живая?» (Смеется.)

В 1953 году, когда умер Сталин, отмечаться стало проще... Когда умер Сталин, нас отпустили домой... Учительница там упала в обморок...

А как другие? Каждый про себя радовался, но радовались только в кругу близких, никто не знал, чем все может обернуться...

В 1956 году всех стали отпускать домой, но мама подписала бумагу, что выслана навечно, что вернуть имущество требовать не станет... В 1957 году домой вернулись крестная и бабушка. Мы остались. Старший брат учился в Красноярске в институте, а средний брат с 12 лет работал в МТС, окончил в Ачинске профтехучилище и получил специальности шофера, тракториста, комбайнера. Как раз перед отъездом в Латвию. Я была очень активной – русачка в полном смысле слова... Мама поняла – если я окончу школу в России, домой не поеду. С братьями мы разговаривали по-русски, а мама мне не отвечала, пока я не заговорю с ней по-латышски.

В нашей деревне было примерно 28 национальностей – и китайцы, и японцы, и татары, и удмурты. Немцы, латыши, эстонцы, украинцы. В этой деревне, нас, латышей, было семей 12, а в классе трое или четверо. Я была среди привилегированных, потому что хорошо училась. Все латышские дети учились

хорошо. Мотивация? Это был мой долг – мама сказала: «Если хочешь стать человеком, должна учиться». Зимой я жила в интернате, на неделю мне давали ведро картошки, две миски замороженного молока, кусочек шпека и лук. Я с детства очень много читала, и старший брат был очень любознательный. В 3-м классе я уже читала «Войну и мир». Радио у нас не было. В доме самодельный стол и нары с соломенными мешками-матрасами. Книга для меня была всем. Я была большая болтушка, пересказывала «Всадника без головы», все сидели, слушали открыв рот.

Со 2-го класса работала. Была я шустрая. Полола картошку. Борозды тянулись на два-три километра. И как начнешь борозду, к концу дня едва доберешься до половины. Летом и братья работали, чтобы осенью купить какую-никакую одежду. Вы пережили вторую ссылку? Нет, я так вошла в русскую среду, дружила с ребятами. Я была своей парень. А вот когда я болела тифом, мама сказала, что бредила яблоками. Видно, этого мне не хватало. Я даже маме сказала, что в Латвию не поеду, мне она не нужна вовсе – так я обрусела.

В 1957 году мы не уехали – у мамы не было денег на дорогу. Пока мы все свое хозяйство не распродали – у нас к тому времени уже была корова и небольшое хозяйство... В Сибири остался и старший брат, он работал на Красноярском тракторном заводе, учился в лесохозяйственном институте.

Вернулись домой мы 14 июня 1958 года. Мама провела в Сибири 17 лет. Был очень красивый вечер, пахла сирень, воздух такой теплый, ласковый...

Мама родилась в Вентспилсе. Жили там наши дальние родственники. Мама списалась с ними, сказала, что собирается вернуться. И они ушли жить в свой дом, который строили в Вентспилсе. Но когда мама начала оформлять документы, выяснилось, что домик перешел государству как имущество без владельца, и нам предложили его выкупить.

Я окончила среднюю школу, жила без прописки. Мама с кем-то договорилась, брат не был нигде прописан. В тот год он работал в Попе.

Дом оценили в 18 тысяч, это были огромные деньги! Мы внесли 25 процентов, и пять лет ежемесячно мама выплачивала 250 рублей за собственное



*Вия с братом Янисом. Латвия, 1947 год*

имущество. А как помощник пекаря она получала 400 рублей. В вентспилсской школе я снова попала в русскую среду. Было 16 человек – дети капитанов, комендантов. И 16 – латышские дети, вернувшиеся... Страдальцы и завоеватели. Но у нас была очень хорошая учительница. Муж ее, как оказалось, был каким-то чином в КГБ. Это я только позднее узнала. Она умела нас так доброжелательно настроить, что по существу ни ненависти, ни обиды не было.

Очень холодно и сдержанно приняли нас латыши. Не знаю, то ли это был страх, то ли презрение...

Продолжить учебу после школы я смогла не сразу, так как мама не в состоянии была меня содержать. Я мечтала изучать химию на фармацевтическом факультете, мечтала стать фармацевтом... создавать новые лекарства или новые духи. В аптеку на работу меня не приняли, в библиотеку тоже. Пошла я на строительство – мешала бетон, строила лестницы.

В Запорожье открыли новый вуз, в котором был и химико-фармацевтический факультет. Я сдала экзамены, были три пятерки и три четверки. Пошла к декану, спросила, не забрать ли мне документы. Но

в сентябре получила документы – конкурс не выдержала... Старший брат к тому времени окончил институт, вернулся в Латвию и работал на Вентспилском вентиляторном заводе. Пошла и я туда, учетчицей. Постепенно доросла до технолога. Начала учиться в Политехническом институте, но по разным причинам вынуждена была переехать в Тукумс, работала там в «Сельхозтехнике».

Сейчас я на пенсии, вечерами подрабатываю – машу метлой. У меня есть сын, Андрис Стрелис, он живет в Талсы. Он историк, и знающий, но мою жизнь ему понять трудно. Он сказал: «Мама, все это в прошлом, надо жить дальше».

Больно смотреть, как латыши продолжают завидовать друг другу и травить друг друга. Мы должны быть как единый кулак и знать, чего хотим и куда идем, а мы все время спорим и ссоримся, обливаем грязью друг друга, завидуем. Я не испытываю никакой ненависти к человеку, будь это русский или человек другой национальности, если он живет и работает так же, как я. Если не говорит: «А мне положено!». Пусть живет и строит жизнь вместе с нами.



*Ви́я (в центре). В Сибири*





## БАСЯ ГАМЗА

родилась в 1932 году

Звать меня Бася Гамза, родилась я 20 июля 1932 года в Лудзе. И была первым ребенком совсем не молодых родителей. В свое время работал там очень известный врач Рокашов, который прожил долгую жизнь. Когда родился мой брат, он сказал: «Смотри-ка, у старичков такие хорошие дети». Жизнь протекала нормально, отец был человек известный, и вокруг меня, а не только в семье, царил любовь. Машин в то время не было, по улицам можно было бегать, куда только пожелаешь. Я была очень любопытным ребенком. В 1939 году пошла в школу, причем сразу в 1-й класс. В то время существовали подготовительные классы, но я уже была достаточно подготовлена, сдала экзамен и попала сразу в 1-й класс. В 1940 году я уже помню приход советской власти. Отец относился к ней отрицательно. Он даже не ходил на работу. Работал дома. Он был общественным деятелем, учителем. В школе он преподавал вероучение. У нас дома всегда было много народу. Еще он писал «прошения», так тогда назывались заявления. Люди приходили к нему с просьбой составить годовой отчет. Не было дня, чтобы у нас в доме не находились незнакомые люди. Иной раз, вероятно, отцу я и надоедала – я собирала тетрадки, наклейки, и каждый раз приходила и просила лат. И он, только чтобы я от него отстала, давал мне этот лат.

В 1940 году я бегала на все митинги. Отец не выходил из дома. После митингов я приходила и дома все рассказывала. Помню митинги возле водонапорной башни в Лудзе. Там высказались за советскую власть. В первый год в школе мы еще учили и латышский язык, впрочем, о том времени я мало что помню. Помню, было такое стихотворение: «В школу, в школу, пойдем в школу, что мы делать будем там». Дальше не помню.

На втором году советской власти латышский язык мы уже не учили, иврит не учили, только идиш. А 14 июня пришли нас арестовывать. Это была ночь с пятницы на субботу, примерно часов в двенадцать. Помню, у отца спросили, нет ли у него оружия. Отец показал игрушечный пистолет брата. В чем его обвиняли? Лидер сионистской организации, воспитывает молодежь в антисоветском духе. Сказали, чтобы собирался. Чемоданов у нас не было. Жили мы еще с одной семьей в общем доме. Общая кухня, общий туалет. Мама растерялась. Первое, что она сделала, взяла альбом с фотографиями и отнесла к соседям. Бросила в туалет свое кольцо с бриллиантами. Пришла соседка, стала расстилать простыни, увязывать узлы. Я помогала. Ну, как я могла помогать – вертелась под ногами. У соседей был мальчик, звали его Раф. Мы вышли во двор, и я ему сказала: «Я летом вернусь, и мы снова будем играть!» Из дома нас вывезли в 12 часов, собирались 12 часов. Была суббота, отец был человек верующий, соблюдал все законы веры. Велели садиться в машину, но вера этого не позволяла. Он сказал, что пойдет пешком. Жили мы на улице Базницас.

Тогда мне казалось расстояние от дома до станции огромным, потому что когда папа уезжал в Ригу, а ездил он часто, всегда нанимали извозчика, и это было замечательное приключение. Сейчас я побывала в Лудзе, до станции 10 минут ходу.

На грузовике привезли нас на станцию, здесь женщин и детей разлучили с мужчинами. Я видела отца тогда в последний раз. Сидели на станции до шести вечера. Наша соседка Женя рассказывала, что приносила нам обед, но я этого не помню. В вагоне было 22 человека. А так как у нас и наших соседей

*В комнате было  
два окна. Часть  
окна мы забили  
досками, насыпали  
туда опилок.  
А оставшиеся  
покрывались  
ледяной коркой.*

были дети, нам разрешили спать на верхней полке. Все-таки, хоть и за решеткой, но там было окошко. Можно смотреть. Вместо туалета была «параша». На больших станциях выпускали за водой. Наша соседка – Зина Цемель – она умерла в прошлом году в Риге – была назначена старшей по вагону, и ей с ведром разрешали ходить за водой. Обычно к ней присоединялась и я. И вот мы поехали. Вывезли нас 14 июня, в Канске были 3 июля. В дороге, понятно, не давали ни газет, ничего, мы не знали, что началась война. Заметили только, что огромное количество эшелонов направляется на запад. Мама сказала, что насчитала 523 эшелона.

В Канске все напоминало переселение народов. Из дома выставили. Было большое здание, очевидно, школа. Тюки, чемоданы (их было мало) сложили на земле. Не помню, асфальт там был или песок. И тут начался ливень, все промокло. И начали нас распределять по районам. Мы с соседкой попали в Иланский район. Вместе с нами была еще одна еврейская семья из Дагды и женщина, одинокая. Фамилия ее Пенснере. Были, конечно, и латышские семьи, но мы держались вместе с еврейскими семьями. С семьей Цемель мы даже жили в одной комнатухе – две женщины и четверо детей. Я из детей была самая старшая. Мне было уже восемь с половиной, братику четыре, был еще один мальчик трех с половиной лет. Самой младшей – Гене Цемель – было всего полгода. Она родилась 1 декабря. Привезли ее в детской коляске. Для местных жителей эта коляска казалась седьмым чудом света, ничего подобно в жизни они не видели. Помню, как все пришли смотреть на нас. Сначала рассматривали коляску, потом стали разглядывать нас. В первое время у нас еще были вещи, потом мы стали менять их. Не думали, что придется остаться там надолго. Первое лето прожили. Нам, детям, легче стало уже потом. Маме в то время было 46 лет, вторая женщина была чуть моложе. Их посылали на сельские работы. Работа была за шесть километров. Иногда ходила и мама. Я оставалась с детьми. Мама рассказывала, что у них с собой были зонтики. Там летом дожди, не то, что здесь, в Израиле. Местные просили разрешения посидеть под крышей, тогда мы вас отвезем! Надо было полоть – словом, такие вот работы. Потом мама сторожила колхозный огород. Это уже в самой деревне. Помнится такой случай. Я осталась с малышкой, надо было ее покормить и отнести еду маме. Плиты не было, на два кирпича я поставила вариться картошку. У кастрюли была длинная ручка, я задела

и опрокинула ее себе на руку. Конечно, плакала... Одну руку сунула в миску с холодной водой, потом покормила малыша. Вероятно, оставила ребенка на брата и понесла маме еду. Пришла, маме рассказываю – не понимаю, отчего так жжется рука, не знаю, что случилось. Мама у меня была умная, ни о чем не спросила, я потом до захода солнца держала руку в реке. Бывали случаи, когда маленькие дети оставались одни, потому что в мою обязанность входило и покупать продукты. Мне давали корзинку. В первый год мы ничего не посадили, я покупала огурцы, лук, картошку. Все, что там росло. Я панически боялась собак и свиней. Свиньи расхаживали по деревне, и мне они казались настоящими зверями. Огород, который сторожила мама, не был обнесен забором, свиньи постоянно там паслись, надо было их отгонять. Иногда я помогала маме.

Наступила зима, холодная. В первый год у нас еще была одежда. Была у нас железная печка, которую надо было топить сутки напролет, чтобы поддерживать хоть мало-мальски нормальную температуру. Были две кровати. На каждую семью по одной. В комнате было два окна. Часть окна мы забили досками, насыпали туда опилок. А оставшиеся покрывались коркой льда. Произошел там случай, который я не забуду никогда в жизни. Женщина, с которой мы жили, по профессии была бухгалтер. Она была из Риги, в Лудзе в 1937 году вышла замуж, сейчас работала в колхозе. Работали в колхозе и латышские женщины. Зимой 1942 года одну вызвали и сказали, чтобы отправлялась в Иланск. Ее арестовали, и больше мы эту женщину не видели, она исчезла, так до сих пор и не знаем, что с ней произошло. После того узнали, что хозяйка, у которой она жила, позавидовала ее вещам и просто-напросто ее оклеветала. Она якобы сказала, что флаг на сельсовете выгорел. Этому придали политическое значение... И вот нашу соседку вызывают в Иланск, в районный центр. До центра 60 километров. Машин не было. У нас осталась папина шуба. Мама дала ей шубу, мы попрощались. Помню, я очень плакала. А мальчик говорит: «Ой, мамочка, ой, папочка!» На что она ответила: «И не мамочка я уже, и не папочка». До сих пор не могу об этом спокойно говорить. Мы пошли провожать ее до бригады, всего несколько шагов. Когда ударит сильный мороз, дерево начинает трещать. Дома деревянные, все углы трещат. Так мы ее проводили, она уехала. Мама осталась с четырьмя детьми. Думали – все, конец. Прошло несколько дней, эта женщина возвращается. Радость была неописуемая. Оказывается, ее

решили использовать по специальности, но другого способа сообщить об этом не нашли. Все было нацелено на психологическое давление. Она вернулась, стала работать в колхозе счетоводом. Это, конечно, была перемена к лучшему.

В 1945 году она уехала в Иланск. В 1946 году появилась возможность отправлять детей в Латвию. Мы об этом знали, но у нас никого из родных там не было. У нее была сестра мужа, она своего мальчика отправила. Меня мама хотела отправить к какой-то дальней родственнице, которая в это время жила в Лудзе. Позже узнали, что она арестована. Она выдавала карточки. И карточки пропали. И на нее написали донос. На этом все и закончилось.

Об отце никаких сведений мы не имели. В 1942 году прислали записку, адресованную «агидной маме» от мужа, и там отец писал: «Мы счастливы и рады, что вы живы, мы тоже живы и здоровы». Писал он Хасе, Басе и Ицхаку, там написали и другие мужчины, которые сидели с ним в лагере. Письмецо это мы получили летом, в это время отца уже не было в живых, погиб он 31 марта 1942 года. Потом уже получили более конкретное письмо, адресованное нашей соседке: все мужчины находятся в одном месте, и ее муж тоже погиб там. Он писал, что отец наш очень болен, лежит в стационаре и будет чудом, если он выживет. И еще он сказал отцу, что когда они вернуться, – а у него был большой сад, – он повесит для моего брата качели. И отец плакал, когда это услышал.

Мама продолжала работать в колхозе, она была оптимисткой. Вначале нам сказали, что мы сосланы на 20 лет, потом – что навечно. Мама еще произнесла: «Ничто не бывает вечным». Приходили местные, говорили: «Своих мужей вы уже никогда не увидите». У них был опыт. Там было очень много раскулаченных, еще с 1937 года. Мужчины не вернулись, многие дома стояли заколоченные. Помню маму, когда она получила известие, что папа умер. Я вошла, она сидела в платке. Я никогда не видела у мамы этого платка. Она сидела в углу. Был там такой сарайчик. Ничего не говорила, а может быть, говорила. Так мы пережили папину смерть.

В каком лагере был ваш отец? Кировская область, Вятский лагерь, 7-й лагпункт.

Он умер от бессилия. Во-первых, как я уже говорила, он был человек верующий и не ел то, что ему давали. Из тех, кто остался жив, вместе с ним был и отец Атидин. Когда он вернулся, я впервые в 1957 году поехала в Ригу его навестить. Он позвал

меня прогуляться и сказал: «Дома об этом не хочу говорить, но есть вещи, которые вы должны знать». И он рассказал – как жилось отцу, как над ним издевались. У отца была борода, бороду отрезали. Как их 40 километров гнали пешком, сказали, что где-то в Белоруссии их ждут жены. Каждый из них взял с собой какие-то вещи, но по дороге стали выбрасывать, чтобы легче было идти. Потом их разместили в большом сарае и начали над ними издеваться, особенно изошренно издевались над моим отцом. И все же, хоть он и не ел, в какой-то мере он сумел поддерживать других. Он пользовался авторитетом. Вот его слова: «Я не так воспитан, я не могу, но вообще наша религия, наша вера говорит: в моменты, когда грозит опасность, есть надо все». Пытался поддержать других.

Вы сказали, что в Сибири вам удалось ходить в школу. Вы знали русский язык? Мы из Латгалии. Помню, как-то в Лудзе я переписывала русские печатные буквы. Говорить – говорила, но в школе русский язык не изучали. Я попала в 3-й класс, брат еще ходил в детский сад. Надо было учиться. И тут мне толкуют: «подлежащее», «сказуемое» – грамматические термины. Вспоминаю свой первый диктант – сколько там было ошибок! А потом я стала отличницей и отлично окончила среднюю школу. Нам повезло, что там была средняя школа. Вначале была семилетка. После 10-го класса нас было всего шестеро выпускников, но это была средняя школа.

Как называлось это место? Южная Александровка. Дзинтра говорила, что была там с Сашей Даудишем. Когда Сашу Даудиша и Франциса выслали второй раз, они попали к нам, мы познакомились, стали хорошими друзьями, особенно с Францисом. Он, правда, был старше меня, но мы дружили.

Как вы выживали в первые годы? Как вначале складывались отношения с местными? Они тоже были безумно бедны. Напротив нас был дом – никаких занавесок на окнах. И там было много детей. Мама по своей наивности думала, что это баня, поэтому все ходят голые...

Мы посадили... у нас возле дома был огородик. Посадили картошку, потом посеяли морковь, огурцы... Огурцам нужны были парники, навоз. А лук там рос хорошо. Помню, в какой-то год мы собрали 60 мешков картошки. Нас было шестеро – четверо детей и двое взрослых. Ели ее до Нового года. Что мы там ели? Была большая кастрюля, варили суп с «затиркой». Что такое «затирка»? Берешь немного муки и делаешь клецки. Иногда внизу подгорало, и мы, дети, спорили, кто выскоблит подгоревшее. Потом нача-

лись голодные годы. Семья Зины, вторая семья, уехала в Иланск, мы остались в деревне. Это был 1946 год, 46/47 год вообще был страшно голодный год. Были у нас куры, но их украли. Я уже подросла, ходила с мешком в лес, собирала черемшу. Травка такая со вкусом лука. В ней очень много витамина «С». Приносила домой, и мы, как коровы, ее поедали. Варили из нее суп. На следующий день снова отправлялась в лес. Ходить было недалеко, лес вокруг. И продавали ее. Был голод, страшный голод. В 1946 году ноги у мамы так распухли, что стали походить на бревна... И лицо тоже... Она ходила к врачу. Нам повезло, потому что там была и школа, и больница, и МТС. Из всех сел это было самое главное, были деревни, где жили еще хуже. Пришла мама к врачу и просит: «Доктор, выпишите мне какие-нибудь лекарства». А он в ответ: «Что мне вам выписать? Жиры? Сахар? Что?» Был просто голод. Потом мы ходили подбирать колоски – те, что остались под снегом. Какие-то зернышки в них еще были. Колоски заплесневевшие, многие из местных травились, даже умирали. Что ели мы? Когда появлялась картошка, мы ее чистили, кожурки сушили. Помню, как послали меня за мякиной на мельницу. Когда начинали молотить, пыль поднималась неимоверная. Мельник кричит что-то вперемежку с матом. Кое-что набрали. Муку принесла домой. А мука черная. Испекли какие-то лепешки, на железной печке, но есть все равно нельзя было, выбросили.

В 7-м классе мы проходили медицинскую проверку. Но нижнее белье у меня было такое, что я стеснялась раздеться, от проверки отказалась. И от голода, от холода появились вши. Помню, была такая семья – Саша Удре, кажется, так ее звали. Пришла она к нам в гости, – не могу этого забыть, – а по волосам ползут вши. И не обычные, а те, что появляются от голода. Она после этого умерла, умер и ее сын Янис. Второго не помню, как звали. Многие там умерли. Это чудо, что мы выжили.

В тот год, когда был страшный голод, наша соседка Зина уже жила в Иланске и прислала нам однажды мешок с овсяными отрубями. Из них можно было варить кашу, что мы и делали. Покупали молоко, но не цельное – колхозники должны были сдавать государству девять килограммов масла. Пастбищ не было. Кажется, Сибирь – земля богатая. Не знаю, как они жили, там коровы давали очень мало молока. Мешка с отрубями нам хватило на полторы недели. А потом и в огороде подросли огурцы, лук, а потом молодая картошка, которую мы только подкапывали. Стало чуть легче.

Мамина сестра жила в Израиле. Каким-то образом она узнала, где мы, и мы стали получать посылки. Посылки приходили вскрытыми, полупустыми. Помню одну – в ней было для меня платье и половая тряпка от местных. В «Ревизоре» есть персонаж – почтмейстер, вороватый. Мама так и сказала: «Почтмейстер тоже хорош». Потом посылки стали приходиться на Иланск, в районный центр, но чтобы их привезти, нужно кого-то просить. Был в МТС бухгалтер, мама пошла к нему. Есть такая организация «Джойнт», созданная в Америке в 1914 году, она помогает всем евреям, оказавшимся в беде. В посылках были одеяла, мыло, чай. Потом и обувь, солдатская обувь. Когда я училась в 8-м классе, по-моему, это был 46/47 год, я ходила в сапогах 46 размера и в пальто, пошитом из солдатского одеяла. Через несколько лет у нас украли и это пальто.

Как к вам относились местные? Латыши рассказывают, что их обзывали.

Я там страдала... Мое имя Бася. А там это означает «овца». Их зовут: «Бась, бась, бась». А Циля там означает «корова». Меня всегда дразнили. В школе нет, в школе меня уважали, потому что я всегда ходила в хороших ученицах. Но были среди учителей и антисемиты. Запомнился случай, который произошел в 5-м классе. Было очень холодно, в классе стояла печь. Мальчишка меня толкнул, я упала. Какие-то штаны на мне были, я уж не помню. И учитель говорит: «Гамза, снова ноги перед печью задираешь?» Он был антисемит. Нет, не скажу, что против евреев, как против высланных. Там были и латышские семьи, и поволжские немцы... Мы держались вместе. Один мужчина, местный колхозник, сказал маме: «Ведь наш Бог еврей». Я этого никогда не рассказывала своим соученицам. Не помню, чтобы мама наказывала мне об этом молчать. Не знаю. Возможно, и у них был горький опыт, так как, я уже говорила, были там и «раскулаченные», они тоже ни о чем не спрашивали.

Вы хотели вернуться в Латвию? У меня была подружка, отец ее был учителем. Она, между прочим, очень дружна была с Францем Даудишем. Они очень любили друг друга. А замуж она потом вышла за местного. Но в браке счастливой не была. Жила она в другом месте, недалеко от Иланска. Я к этой семье очень привязалась. Настолько, что мама как-то сказала: если бы Шурик, ровесник моего брата, был бы чуть старше, она просто бы настояла, чтобы он на мне женился. Прожили мы там 17 лет. Позже я работала в той же школе, где училась. Я работала во многих школах, училась заочно.

Вы получили среднее образование? Да, потом начала работать и училась заочно в Красноярском институте. Но было это не просто. Не всегда мне давали разрешение. Был случай, когда я уехала сдавать сессию... Денег, конечно, было в обрез. На еду тратила рубль в день. Кислые щи и еще что-нибудь в студенческой столовой. Купила билет, в общежитии сказала, что уезжаю. А для этого нужно было иметь разрешение. Мне еще 16 лет не было, когда меня «поставили на учет». Родилась я 20 августа, а на учет поставили уже в феврале.

А вот еще случай. Так как я состояла на учете в комендатуре, то чтобы куда-то поехать, нужно было разрешение. Я должна была ехать на учительскую конференцию. Это была осень 1952 года. Выехать следовало в понедельник. Пришла за разрешением в субботу, коменданта нет. В воскресенье выходной. Поехала без разрешения. Приехала и по собственной глупости пошла в милицию: так, мол, и так, приехала. Пошла на конференцию. Три часа дня, дебаты в самом разгаре. Входит человек, называет мою фамилию и выводит меня... Привел меня к женщине, с которой я жила вместе в районном центре, в небольшой комнатке... Она жила у хозяйки, очень приветливой женщины, которая принимала любых гостей, не только ссыльных. Жили там еще две латышки моя учительница Строда, Полина Эдуардовна, и Ольга Владимировна Юшкевича. А те пришли и меня арестовали, и просидела я у них до 12 ночи. Психологическая атака. Потом вызвал в свой кабинет майор, фамилия его была Миргородский. «Мы вам доверились, разрешили поехать в Красноярск, а в Иланск вы явились, не имея на то разрешения коменданта». – «Но была суббота, потом выходной. И я же пришла, сказала, в чем дело». – «Выбирайте – или пять суток ареста, или штраф 100 рублей». Такой суммы у меня не было, и я попросила выписать квитанцию». И вернулась я «домой» в полночь.

Когда уезжала из села, не пролила ни одной слезинки, даже когда прощалась с подругой, очень близкой, – она плакала, я нет. Потому что там была исковеркана вся моя юность.

В каком году вы стали собираться в Латвию? В 1958-м. Работала я тогда в той же школе, где когда-то училась. Брат учился в Красноярске, в лесотехническом. В 1957 году я уже съездила в гости. Когда заочно окончила институт, приехала в Латвию и увидела, что существует совершенно другая жизнь. Моя подружка зашла в магазин на улице Вальню – в военторг – сколько там конфет! Я на конфеты не

смотрела. Зашла в магазин на улице Тилта, или еще в какой-то, не помню, смотрю – сколько же тут хлеба! Мы еще и в 1957 году не ели столько хлеба, сколько хотелось. Мама рано утром бежала занимать очередь. Был случай, когда в очереди ей сломали ребро. А здесь я в первый раз увидела, что хлеба хватает и есть его можно столько, сколько захочешь. Еще год я отработала и в начале сентября вернулась. А директор сказал брату: «Пусть она останется. Я ей еще уроков добавлю».

Какие предметы вы преподавали? Немецкий язык, русский язык – это была моя специальность. А немецкий знала, так как мама была из Курземе.

В 1958 году вы все вернулись? Брат заканчивал учебу, он остался еще на год. Учился он в Красноярске вместе с Антоном Самушевым.

В Латвии тоже было нелегко. В том году вообще не прописывали. Предложили ехать в Дагду. Подумала: но я же языка не знаю. Сказала: «Я возвращаюсь в Сибирь, там, по крайней мере, я знаю язык, а кем буду я здесь?». Помню соседа в Латвии, он был обрусевший латыш. Он знал формулу: «Мы живем в Латвии, и мы должны говорить по-латышски». Сам он языком не владел, но эти слова выучил. Человек он был неплохой, но такая в то время была общая атмосфера. Приближался учебный год. Работы нет, жить негде. Не помню, как я оказалась в Огрском районе. Отделом народного образования заведовала некая Денисова. Направила она меня в Сунтажскую школу. Директором там был Абрамович, между прочим, совсем несимпатичный человек. Поехала я туда вместе с женщиной, с которой мы жили. Я ведь латышского языка не знала. Добраться туда в то время можно было на поезде. Пришли, он смотрит, смотрит и спрашивает: «Кто из вас претендует на место?». Говорю: «Я». Принял он меня на работу, явилась. И вот первое заседание педсовета. Он говорит, говорит, и два слова я помню: «Мать Олега Кошерева». Это-то я поняла, а больше ничего. Начала учить латышский язык, по газетам, по книгам, которые я когда-то читала на русском. Преподавала я русский язык в 10-м и 11-м классах. Тогда надо было сдавать экзамен и по русскому языку. С утра проводить линейку. Однажды на линейке я открыла рот – и начала говорить. Ученики от удивления рты пораскрывали. Я решила – если не буду говорить, ничего путного не выйдет. Мама зато прекрасно владела латышским. Родилась она в Пилтене, жила в Бауске. Жили мы с мамой в Сунтажи, иногда бывали в Риге, ночевали у Жени, были там и наши соседи. Таким вот образом.

Там был порядок. Проработала в школе я девять лет, до отъезда.

Сталкивались ли вы с какими-то проблемами из-за того, что были высланы? Позже? Мы долго не могли получить квартиру. Год я жила без прописки. Нужно было переселяться из Сунтажи. Знакомый, очень дальний наш родственник, предупреждал: «Ходи по улицам осторожно. Через улицу переходи в положенном месте. У тебя могут потребовать документы, и окажется...» Потом друзья собрали денег, и нас прописали. Меня на улице Ленина, 131. Пошла с утра в милицию, а меня спрашивают: «А где же будет прописана ваша мать?» Комната была всего девять метров. Я: «Если бы у вас была пожилая мама, где бы она жила? – Со мной. – Вот и она будет жить со мной». И он написал: «Прописать».

И о работе. Заведовал отделом народного образования Кировского района Эйхманис, он служил в Латышской дивизии вместе с моим дальним родственником. Я ему говорю: «Мы после реабилитации получили квартиру, может быть, я могу устроиться на работу?». А он отвечает: «Послушайте дружеского совета – получили и молчите, не афишируйте, и вообще об этом не говорите». Вот так.

Первый раз мы подали заявление в 1969 году.

На отъезд в Израиль? Да. Ко мне относились очень хорошо. С ребятами иногда случалось... Помню, в 1967 году один ученик произнес: «Израиль, ту-ту, ту-ту». Я не обратила внимания. Вся пресса была пропитана антисемитизмом, вы же знаете. К заявлению нужна была характеристика. Я обратилась к учителю физики Лукстиньшу, он был в профкоме. Он только спросил: «Разве отсюда можно убежать?». От меня услышал: «Я пытаюсь». В первый раз отказали. Директор школы сказал: «Обо всем забудьте и продолжайте работать». Я продолжала. Получила разрешение. Мой брат был очень активным, повсюду писал... Я от всего этого держалась в стороне – я же на идеологическом фронте, учительница.

Как сложилась ваша жизнь, когда вы приехали в Израиль? Приехали мы с «первой волной». Немецкий язык не котировался. Русский язык. Начала я работать, до работы очень далеко. По дороге в Хайфу. Вы бывали в Хайфе? От Тель-Авива 98 километров. Направили нас на юг, в сторону Ашкелона. Там открылся интернат, где русскому обучали как иностранному. Я согласилась. Помню, получила первую

зарплату. Тогда еще были лиры, не шекели. 570 лир. Нагрузка была неполная, работала три или четыре дня. Сумма эта показалась мне огромным капиталом. Брат не был женат. Два взрослых человека и одинокая мама... пока мы получили эту квартиру. Девять месяцев приходилось ездить. Я за один день даже не могла до дома добраться. Приходилось ночевать где-нибудь в Тель-Авиве.

Вы довольны, что приехали? Да, безусловно! Помню, в России в деревне была семья, с которой мы дружили. Перед нашим отъездом из Риги приехал ее брат, он учился вместе с моим братом. Военный человек. Узнал, где мы живем, пришел в гости. Мы так обрадовались. Договорились встретиться у него, он служил в Вильнюсе. Переписывались с подругой, которая жила тогда в Киргизии. Я ей писала о встрече с ее братом, потом не было времени – перед отъездом я так волновалась, собрала все, что писала, – дневники и все, и в большом конверте отправила ей. Написала, что это давняя мечта моего отца – жить в Израиле, и теперь эта мечта воплощается, не поминай лихом и все прочее. Она мне ответила, и я так плакала над ее письмом... Мы все плакали, когда уезжали, – такое было время, прощались и не знали, увидимся ли когда-нибудь еще. Плакали и те, и другие. У мамы здесь была когда-то сестра, ее уже нет, остались две двоюродные сестры. Жив был еще мой дядя, с ним виделись, и с маминной двоюродной сестрой тоже. Когда-то у нас была большая семья, но все рано ушли из жизни.

Приезжали ли вы в Латвию? Да, в 1991 году приехала работать, и был интересный случай. Шла по парку, был выпускной вечер. Смотрю, навстречу идет один наш учитель. С цветами. Я его узнала, подбежала, заговорила... Была уверена, что говорю по-латышски. А мои девочки стоят и хихикают – говорила я на иврите. По-моему, его фамилия была Пликанс. Спрашиваю: «Вы работали когда-то в 36-й школе? Помните, была такая учительница Гамза. Это я!» Стала спрашивать об учителях, многие, оказывается, ушли на пенсию, все-таки прошло 20 лет. Потом еще раз была в Латвии. Этим летом была в Латвии. Чтобы с нею встретиться. Ее мама была моей второй мамой. Моя мама умерла в 1980 году, а ее мама прожила долгую жизнь, и видела я ее за год до смерти. Это был мой долг, я чувствовала, что должна это сделать. Как-то в аэропорту подошла ко мне молодая женщина. «Вы учительница Гамза?» Я думала это ученица, оказалось, это учительница. Она меня узнала.

# ИСХАК ГАМЗА

родился в 1937 году

Меня зовут Исхак Гамза. 14 июня 1941 года мне было четыре с половиной года. Родился я 25 января 1937 года. Жили мы в Лудзе на улице Базницас, 38.

Помню, что в вагоне были слышны свистки паровозов. Первые воспоминания – в моем возрасте меня могли принять в детский сад. Относились ко мне там плохо, часто ссорились и дрались. Случалось, что противник был не один, а двое или больше.

1941 год помню плохо. Мне нравилось залезать на крыши, помню ящики и мужчин, которые говорили, чтобы меня сняли с крыши. Боялись, что я упаду. Помню стоявший грузовик. Как увели отца, не помню. Помню, что когда нас везли в товарных вагонах, мы спали на нарах – как на стадионе. Я спал на верхней полке возле маленького окошка, забранного железной решеткой. В обоих концах вагона были люди из НКВД. В дороге мы подолгу стояли, потому что началась война.

Отца увели, и о нем мы ничего не знали. Все женщины волновались за своих мужей. В середине июля мы оказались на станции Иланск. Через полгода узнали, что мужчины находятся в Кирове, в Вятлаге. Там был и дядя Язеп, которому удалось спастись, но его уже нет на свете. Не знаю, что произошло с тетей – звали ее Паулина, говорили, что она переехала в Ригу.

Я был вместе с мамой и сестрой. Маме надо было работать в колхозе – хочешь ты или нет. Надо было выполнять дневную норму. В 1947 году подсчитывали, кто сколько сделал. Находили таких, кто не выполнил свою норму. Их называли паразитами и решили судить. В сельском клубе устроили показательный процесс – был там один русский, Сивков, которого посчитали злостным нарушителем, не выполняющим норму, и за это решили

его отправить на Северный полюс. Кажется, постановили сослать его на два или три года. Через несколько дней его забрали. После этого на сцену вышел председатель колхоза (я тоже был на том собрании, а когда я спросил у мамы, зачем я здесь, она ответила, что меня не с кем было оставить), и мама сказала: «На сцене появился злодей». Он стал перечислять 29 фамилий людей, не выполнивших норму. Сказал еще, что если ситуация не изменится, их ждет участь Сивкова... После этого собраний больше не было, и никого никуда не послали.

Помню, каждой семье в колхозе выдавали хлеб. Была семья Удре – мать и трое сыновей. Хлеб давали на неделю, и надо было рассчитать, как поделить хлеб, чтобы хватило на все дни, чтобы можно было работать. Моя мама умела это делать – два года она пролежала в больнице и кое-что знала о нормах продуктов. В 1945 году от голода умерла сама Удре, потом двое сыновей... третий сын выжил... Те, кто хоронил, думали так: мы вот здесь умираем от голода, нас закапывают, а ты, злодей, сидишь в Кремле и пользуешься всеми благами... Имелся в виду Сталин. Такие были похороны.

В 1948 году к нам прислали литовцев. Помню братьев Петравичюсов, у них был оркестр, их приглашали выступать на банкетах. Каждый, кто там находился, был человеком без прав, с «собачьим паспортом» – каждые две недели надо было ходить отмечаться к коменданту. Ребенок до 16 лет был под надзором родителей и тоже не имел права выехать даже в соседнее село. Нарушителя могли оштрафовать или посадить на несколько суток в тюрьму.

В 1951 году нас позвал комендант и сообщил, что сосланы мы сюда навечно. (До этого говорили, что на

*Я был вместе с мамой и сестрой. Маме надо было работать в колхозе – хочешь того или нет.*

20 лет.) Когда умер Сталин, стояла тишина, но в 1954 году уже заговорили о реабилитации.

В 1953 году появилось «дело врачей». Я учился в 9-м классе вместе со Стродсом и Антоном Самушевым. Была политинформация. Класная руководительница, проводившая политчас, говорит: знаем ли мы, что происходит в Москве? Из этих врачей шестеро – евреи и только три русских! Когда она это сказала, все головы в классе повернулись ко мне, они поняли, что я главный враг СССР, предатель. Вскоре у Сталина случилось кровоизлияние, и я помню, как в класс вошел директор, сказал, что товарищ Сталин находится в тяжелом состоянии и мы мобилизуем самых лучших врачей, чтобы он смог работать и еще долгие годы руководить нашей страной. Была перемена. Мы вышли на улицу. Я, Самушев, Язеп – и мы произнесли: значит, существует вероятность, что уйдет. И хорошо, что уйдет. Этого никто не знал. Когда к власти пришел Хрущев, мы стали думать о реабилитации. Я сказал себе – ни за что не пойду служить в Советскую армию. После истории с врачами мне эта армия казалась фашистской армией. Я понял – если попаду в институт, в армию не заберут. Я понимал, что мне не разрешат учиться в институте, связанном с электроникой, радио, я мог надеяться только на что-нибудь попроще. Даже сам Хрущев не смог сделать всего сразу, хотя было впечатление, что хотел. Поступили мы вместе с Самушевым. Стродс через полгода ушел из института и поступил в Рижский политехнический.

Я вернулся в Латвию в 1959 году, когда окончил институт; мама и сестра – в 1958 году.

Что вы делали, когда мама работала? Был в детском саду, приходил домой около пяти. Потом ходил в школу. Когда учился в 1-м классе, учительница меня не любила, и когда кончалась перемена, она меня в класс не пускала – говорила, чтобы я сидел в коридоре, пока не позовут. Продолжалось это почти полгода. Потом она послала кого-то из учеников, чтобы тот позвал меня в класс. Во 2-м классе меня и еще нескольких ребят она оставила после уроков, так как мы не выполнили домашнее задание. Мы просидели час, два, она так и не пришла, и мы сбежали. На следующий день она заставила нас все уроки стоять неподвижно у доски. Сколько уроков в тот день было, столько мы и простояли. И еще оставила после уроков – пока не приду, уходить нельзя. Не знаю, почему она это делала, может быть, потому что я еврей. В Канске собралось 50 или 60 человек – разработать план действий, но никто не мог понять, что делать.

Возможно, и я был в чем-то повинен, но факт остается фактом: я чувствовал, что меня не любят...

Расскажите о маме и сестре... Был голод. В 1935 году старшая мамина сестра переселилась в Израиль. В Москве она окончила медицинское отделение (или факультет). Во время Первой мировой войны Николай II заявил, что все евреи шпионы. Приближался фронт, и он приказал всем евреям в 24 часа исчезнуть – сказал: если не уберетесь вы, уберем вас мы. Мамина сестра жила в Вентспилсе, и ей и ее мужу пришлось бежать – до 1920 года они находились в Москве или в Подмоскowie, и как зубной врач она окончила там медицинское отделение, потом она попала в Израиль, и когда узнала, где мы, стала присылать нам посылки. Но во время войны посылки эти грабили прямо на месте, в нашей деревне. Нам не доставалось почти ничего. Одна посылка была на вес золота – с медикаментами. Сестра понимала, что в Сибири можно подхватить любую болезнь. Из Израиля можно было получать посылки весом до полутора килограммов – это ведь ничтожно мало! В Америке жил брат ее мужа, и посылку с лекарствами прислали из Америки. А лекарства там были классические – одно из них можно было использовать для лечения многих болезней.

Вам было четыре года, когда вас выслали, рассказывала ли мама о годах до ссылки, как вы восприняли несправедливость, которую вам причинили? До 1953 года я чувствовал, что что-то не так, как надо, – мама мне сказала, что я ссыльный и что меня могут не любить, но мама сказала, что все это из «центра», из Москвы, и все, кто называет тебя другом, могут оказаться твоими врагами. Когда было затеяно «дело врачей», я понял, что из этой страны я должен уехать. Когда меня реабилитировали, вместе со мной были высланные из Литвы, из Эстонии. В 1956 году сидели мы вместе в студенческой столовой. Эстонец был лет на пять-шесть старше меня, и в отличие от нас, и литовец, и эстонец категорически отказывались посещать военные занятия – любыми способами избегали. Эстонец мне сказал: «Если заглянуть на несколько лет вперед – ты уедешь в Латвию». Сидящим рядом русским ребятам это не понравилось. Я потом спросил у него, почему он так сказал. И вот что он ответил: «Понимаешь, когда они с тобой разговаривают, они кажутся друзьями. А когда тебя нет, они говорят о тебе то, что думают, – что ты эту страну не любишь и при первой же возможности уедешь в Израиль». Я окончил институт, прошел военную подготовку, получил даже воинское звание.



Так как нас не поставили на «спецучет», мы поехали в районный центр за чистыми паспортами. Второе – я, Антон Самушев и Стродс. Не знаю, насколько «чистыми» были те паспорта, возможно, были какие-то водяные знаки или какая-то отметка, что мы ссыльные. В Красноярске надо было встать на военный учет в комиссариате. Были я, Стродс, еще одна семья из Дагды. Семья осталась там. Стали меня спрашивать, где я родился, кто мать – словно бы обо мне ничего не знали. Сказал. Спросили, где отец. Я же не стану говорить, что он умер в лагере от голода. Сказал, что умер в Южной Александровке, там, где была мама. Ни Стродс, ни второй парень ничего не сказали, промолчали – сделали вид, что ничего не слышали.

Оставшийся в Риге дядя отца, мамины родные в Бауске – все погибли в гетто. Когда я вернулся в Ригу, многие из нашей семьи погибли.

В дипломе у меня стоит – инженер-технолог лесоразработок. Эта профессия требовалась и в Латвии. В мои обязанности входили валка леса, специальные тракторы, передвижные электростанции, отправка

древесины на комбинаты. Я должен был разбираться и в металлообрабатывающем оборудовании.

Работал я на «Латвияс берзс». Предприятие относилось к отрасли легкой промышленности, зарплата небольшая – 700 рублей. Через знакомых устроился на РЭЗ, в цех радиоаппаратов, все надо было осваивать заново. Пошел на курсы. На РЭЗе проработал три года, ушел на бывший «Феникс» – Рижский вагоностроительный завод – и отработал там с 1962 по 1971 год.

Женился в Израиле. Конечно, мог жениться и в Латвии. Сестре в 1957 году предлагали выйти замуж за польского еврея и уехать в Израиль, она отказалась. А я думал – если у меня будет семья, я буду оторван от мамы и сестры, а я страшно не хотел, чтобы они оставались жить при советской власти. И решил – я должен жениться только в Израиле. У меня сын и дочь. Сын окончил колледж, это первая ступень высшего образования. Дочь после армии работает и собирается поступать в университет. Сыну 28 лет, дочери 22 года.

Ну, что еще сказать. Я счастлив, я доволен, что приехал сюда, в Израиль.



*Исхак в Сибири*

# АУСТРА ГЕДРОВСКА

родилась в 1928 году



Ночью 14 июня 1941 года в «Миезитенес» Белявской волости Гулбенского района вошли четверо вооруженных мужчин – два русских солдата, остальные местные «кангари», предатели, велели собрать вещи и увезли на железнодорожную станцию в Гулбене.

Отец – Гедровскис Мартиныш, староста Белявской волости, сразу же был с нами разлучен. Последний раз отца видели совершенно седым, никаких иллюзий у него не было. Умер он в 1942 году в Свердловском лагере смерти.

Остальные – мать Ете Гедровска и три дочери – 17-летняя Тамара, 15-летняя Майга и я – 13-летняя Аустра начали свое путешествие в телячьем вагоне. Допытывались у конвоиров, но они ни в какие разговоры не пускались, ничего не объясняли, и на длительных остановках ничего узнать не удавалось. Под монотонный стук колес нас увозили все дальше на чужбину. Что жизнь там будет нелегкой, было понятно, когда смотрели мы сквозь зарешеченное окно, – бедность, грязь, запущенность во всех деревнях и городах.

Только после месяца тряски добрались до конечного пункта – Ачинска. Там всех из поезда высадили и разместили в местной школе. Как-то устроились прямо на полу и заработал «невольничий рынок» – председатели окрестных колхозов выбирали рабочую силу. Самым ходовым товаром были семьи с молодежью до восемнадцати лет (мужчин старше здесь не было). В конце концов, нас с матерью взяли в какое-то дальнее село Медведевку. Первое впечатление было ужасным: примитивные хибары, по селу бродит худящая домашняя скотина и люди в темной одинаковой одежде, смотрят они на приезжих

подозрительно, даже враждебно. Поселили нас в пустовавшем строении. Была там только русская печь, стол с вырезанным ножом бранным русским словом на три буквы, и больше ничего. Мама недалеко от нашего жилища нашла какой-то чугунный предмет, который можно было использовать вместо котла. Он еще долго служил нам для приготовления пищи, так как другую посуду достали не так быстро. Вечером к нам заявились местные, встали в дверях и разглядывали нас, как каких-то зверей, не говоря ни слова. Так стояли они не один вечер, с завистью и удивлением рассматривая привезенные латышами вещи.

Днем ссыльные должны были идти на работу. Существовавший здесь порядок казался абсурдным: каждое утро, как только рассветет, бригадир, громко ругаясь и щелкая кнутом, объезжал на лошади село и будил его обитателей, которые неохотно тащились на работу. Дома оставались только дети, я тоже. Из хибары выходить не решалась – по селу бегали мальчишки, били кнутом по ногам и обзывали нас фашистами. Мама со старшими сестрами в поте лица трудилась в поле, чтобы выполнить норму и взамен получить продукты. Платили за работу осенью – полмешка зерна и банку меда. И это все, что удавалось заработать за лето, хотя трудились не щадя живота.

Зимой толковой работы не было, только иногда на зерносушилке. А так как с пропитанием было трудно, постепенно продали местным все взятые с собой вещи. Красивое домотканое шерстяное покрывало купила какая-то женщина, пообещав за него 60 литров молока. Но когда расплатилась едва ли наполовину, решила, что хватит кормить этих

*И мы похоронили  
его рядом с мамой.  
В холодной мерзлой  
земле будет  
покоиться теперь и  
мой сынок...*

«фашистов», и договор расторгла. У другой соседки за полотенца и простыни покупали яйца. Так и уходили вещи одна за другой.

Неожиданно в село пришел приказ – собрать всех женщин с детьми старше 13 лет и увезти. Опять двинулись в неизвестном направлении. Привезли в Красноярск, разместили вместе с другими несчастными в грязных бараках, – и там, вшивые и грязные, мы прозябали несколько недель. Потом всех запахали в трюмы баржи, где были трехэтажные нары. Пароход потащил три баржи с живым грузом по Енисею на Север. Конечная цель – Усть-Порт, рыбацкий поселок в устье Енисея, в 400 километрах на север от Полярного круга. Здесь сгорела рыбоконсервная фабрика, и надо было отстраивать ее заново. По реке везли бревна, доски и другие стройматериалы, все это надо было принести на стройплощадку и возводить постройки. Продуктовая норма была нищенская, но на месте сгоревшей фабрики еще можно было найти деформированные консервные банки.

Но судьбе не угодно было оставить нас здесь надолго. В порту пришвартовалось огромное океанское судно, которое часть высланных должно было доставить еще дальше на север – в устье реки Хатанги. И снова в списке оказались и мы. Нас, как и многих других, затолкали в трюмы, как рабов в средние века, и поплыли мы на Диксон – в последний порт в устье Енисея. Дальше простирался Северный Ледовитый океан. Ходили слухи, что вблизи видели немецкую подводную лодку, поэтому команда решила дальше не идти. Из списка вызвали 40 латышей и пересадили на маленький пароход, среди них были и мы с мамой, остальных увезли обратно. Маленький катерок отправился в устье Пясины. Стояла поздняя северная осень, дули ледяные ветры, одежда на всех была жалкая, так что неудивительно, что сестра Майга простудилась – начался насморк и кашель.

Вскоре достигли конечного пункта – небольшого рыбацкого поселка Мисходный. Высадили всех на берег, а катерок отплыл. И вот мы на берегу далекой северной реки. Могучая, но мрачная, неприветливая река. Противоположный берег не виден, да и смотреть там не на что – голая, поросшая серо-зеленым мхом тундра. Чуть в стороне от берега 20 бревенчатых изб под крышами из дёрна, без труб, без окон. Других латышей здесь не было. Были немцы, финны, украинцы и русские. Начальник поселка отвел вновь прибывшим самое большое строение, которое скорее напоминало сарай, показал, где брать уголь, где воду, и ушел, предоставив ссыльных самим себе.

Люди как-то начали устраиваться, затопили печурку, согрели воду и за долгое время наконец-то смогли помыться. Майга, несмотря на то, что по-прежнему чувствовала себя плохо, ополоснула руки, лицо, шею, а на следующий день заболела серьезно. Стремительно поднялась температура. Вокруг небольшого поселка Пясино простиралась бескрайняя тундра, помощи ждать было неоткуда. Все съезжались на своих нарах, больше молчали, чем говорили. В темном сумрачном помещении слышно было только быстрое прерывистое дыхание. Майга пошла в свой последний бой. Я сидела в изножье нары и ничем не могла помочь, но все еще верила, что Майга победит, эта упрямая, настойчивая девочка, которая никогда не отступала от своей высокой цели. Даже учителей поражала ее настойчивость, трудоспособность, они предрекали ей блестящее будущее. Майга, сестричка, держись! Завтра станет легче! Но Майга не слышала, между удушливыми приступами кашля она жадно ловила воздух, а дышать становилось все труднее. Снаружи выл суровый северный ветер, но никакие ветры мира не могли уже вернуть ей дыхание. Побелевшая, застывшая и красивая – такой навечно осталась она в этой заледеневшей тундре.

Когда сестру хоронили в выдолбленной в вечной мерзлоте яме, мне казалось, что сердце мое разорвется. Я должна выдержать наперекор всему. Зло не может продолжаться вечно, надежда на лучшее теплится в каждом до последнего мгновения.

И началась полярная ночь. С последними лучами солнца исчезло тепло, которое едва ощущалось в этом царстве снега и льда. Воздух заледенел, и внезапно началась пурга, сумасшедший снежный танец. Это не сравнить ни с одной снежной метелью в Латвии, даже самой свирепой. Люди кутались в телогрейки, обматывались так, что едва видны были глаза, и все равно, выйдя на улицу, казалось, что ты голый – тело пронизывал леденящий холод. Лицо секли льдинки, захватывало дыхание, хотя тебе надо было сделать всего несколько шагов до сложенной из ледяных кирпичей уборной. Вот, вот тут она должна быть. Но тьма непроглядная, снег кружит как безумный. Человек делает пару шагов в одну сторону, в другую. Нету! Надо поворачивать назад! Но куда? Он идет, он продолжает идти, в темноте теряя всяческую ориентацию, сражается с бурей из последних сил и, совершенно обессиленный, падает и тут же остается лежать. Так в первую зиму в поселке расстались с жизнью около двенадцати человек.

Большинство из них, когда пурга стихла, нашли там же поблизости, а кто-то навсегда исчез в бескрайних просторах тундры.

Дни ссыльных проходили однообразно. Выходить из холодного сарая без нужды никто не осмеливался, вокруг враждебная, чужая среда. Если бы людей высадили на Луну, то, вероятно, там они чувствовали бы себя такими же одинокими и незащищенными. Неподалеку были люди, но некоторые из них считались начальниками, всеми командовали, существовал и языковой барьер – русский язык не стал еще настолько привычным.

Между собой латыши находили общий язык, хотя жили в страшной тесноте – нары в два этажа, вплотную друг к другу. Чтобы хоть как-то отгородиться от соседа, между нарами сложили какую-то одежду. Общая картина была довольно мрачная. Посреди помещения находилась «чугунка» – источник тепла и очаг одновременно. Мрачное настроение усиливало голод. В центре поселка раз в месяц выдавали продукты, правда, очень хорошие американские продукты – копченые колбаски в бочоночках с жиром, тонко шинкованную кислую капусту, снежно-белую муку и сахар. К сожалению, порции были ничтожными, их не хватало. Буханку черного хлеба надо было с умом разделить на неделю. Тем, кто был выше ростом и посильнее, приходилось хуже, появились первые признаки цинги – начали опухать ноги, шататься зубы, не было сил ходить.

Внезапно начальство опомнилось – надо работать! Привезли ведь не для того, чтобы ленились, – все на реку! Рубить проруби и ловить рыбу! А на реке лед двухметровой толщины. Чтобы опустить под лед сеть, надо было прорубить шесть лунок – две больших, сквозь которые сеть тащили, и четыре маленьких, чтобы протянуть сеть в первый раз. Делали это с помощью шеста, который толкали от проруби к проруби, пока сеть не протягивали. Потом шест вытаскивали, сеть оставалась подо льдом, крепили ее веревками к вбитым в лед кольям. Спустя время ее вытаскивали через одну прорубь, рыбу, которая моментально замерзала и превращалась в стекло, вынимали, потом с помощью веревки сеть снова затаскивали через вторую прорубь. Полная сеть была настолько тяжела, что даже вдвоем надо было приложить немало усилий. Рыбу из сети следовало вытаскивать как можно быстрее – кому хотелось возиться в темноте и на холоде. К весне день на пару часов становился чуть прозрачнее, но домой возвращались в полной темноте. А если день был пасмурный, то

преследовало ощущение, что работаешь на дне колодца. Обычно температура воздуха колебалась в пределах минус 30 градусов, но случались дни, когда она падала до минус 40, 50, а может быть, и ниже. На этом жутком холоде руки быстро белели, и потому по вечерам вязали полотняные рукавицы из ниток, выдернутых из сетей, добавляя к нити шерстяную, из старого свитера, иначе на холоде полотняные рукавицы становились деревянными.

Но нет худа без добра – вытаскивали богатые уловы, рыба была большая, жирная и вкусная – разные виды лососевых. Чтобы избежать цинги, рыбу ели и сырую – замерзшую строгали, и кусочки буквально таяли во рту. Улов брать не разрешалось, однако рыбаки наловчились сунуть рыбу под ватник и отнести домой. На берегу их проверяли, иной раз и ощупают, но и тут нашли выход – привязывали рыбу на длинный шнурок и тащили следом за собой – в темную полярную ночь никто из охраны не замечал, как рыба проскальзывала между ног. Голод никто не переносил – вот и цинга отступила. Однажды русскому охотнику удалось добыть белого медведя. Все впервые попробовали экзотическое жаркое.

Тамаре исполнилось уже 19 лет, и она ходила на эту тяжелую работу – ловила рыбу. Мы с мамой работали в рыбообрабатывающей бригаде. Мы должны были рыбу почистить, вынуть внутренности и сложить в бочку. Когда начиналась пурга, все садились чинить сети, ставить заплатки на свою одежду, с последней было трудно, телогрейки, правда, выдавали, но холодно было и в них. Утнетала и вечная темень, и ссыльные научились делать коптилки из рыбьего жира. Наливали его в посудинку с хлопчатобумажным фитилем, пристраивали на краю нары. И таким светильником надо было обходиться всю зиму. Когда весной, наконец, появлялось солнце, все с удивлением узнавали, что у некоторых совсем другой цвет глаз и волос, чем они думали, но зато у всех кончик носа был в копоти.

Кончилась первая долгая зима. Пора было прекращать подледный лов, и часть рыбаков перевезли на берег Северного Ледовитого океана, чтобы продолжать лов уже в Карском море. Начальник велел собрать пожитки – палатки, одеяла, продукты, уложили все на несколько саней, в каждые сани впряглись четыре–пять женщин, и караван двинулся на отстоящий за 40 километров берег моря. А так как весеннее солнце в тундре ослепительное, надо было беречь глаза, остерегаться снежной сле-

поты. На лицо набрасывали белую ткань, оставляя для глаз узкие прорезы. Ориентиров никаких. Направление – северное, конечная цель – океан. Заблудиться было трудно, разве что пропустить берег и оказаться прямо в море. Путь далекий и тяжкий, так что не верилось, что в тот же день можно будет дойти до цели. Бедные женщины шли и шли по однообразной, слегка волнистой равнине. Еще утром снег похрустывал под ногами, а днем отпустило, под ногами захлюпало, ноги промокли, как и сами женщины от собственного пота и снега. Уже смеркалось, во рту горький привкус, сил нет ни в руках, ни в ногах, тело как побитое, а солнце еще высоко. Когда оно скатилось к горизонту, появился, наконец, берег. Люди без сил попадали в сани, но предстояло еще в снегу поставить палатки, съесть скудный холодный ужин и в тех же телогрейках отправиться спать, закутавшись в одеяло. На следующий же день ссыльные приступили к строительству небольшого поселка с несколькими рыболовецкими пунктами на расстоянии 10 километров друг от друга, оставляя в каждом из них по восемь-десять человек. Все побережье моря было усеяно топляками, они и служили строительным материалом. Когда море освободилось ото льда, надзиратель велел тащить бревна по воде, и женщины побрели по поясу в ледяной воде, волоча за собой бревна. Побережье Северного Ледовитого океана – это вам не южный курорт, и брести по поясу в ледяной воде сомнительное удовольствие. Но долгая зима закалила людей, научила их упорству, и никто даже не заболел.

С появлением «блатных» отношения в рыболовецкой бригаде обострились. Ссыльные столкнулись с грубой силой, с «цветочками» русского языка. Но так как политических было гораздо больше, уголовникам не удалось взять верх. И хотя вначале женщинам неприкрыто угрожали, до насилия не дошло. В каждой бригаде было по одному, по два преступника, и они вынуждены были подстраиваться под остальных. Жили все вместе в одной будке, выполняли одну и ту же работу, знали, что точно такая же будка находится в десяти километрах, а еще дальше вообще ничего нет. Что здесь можно было украсть, кого убить и куда сбежать?

Быстро прошло полярное лето, так быстро, что из Норильска «не успели» подвезти уголь. Началась зима, а в Мисходном нечем было топить. Время от времени дрова подвозили с моря. Но было ясно, что всю зиму на этом не продержаться. Начальство решило, что те, кто рыбу не ловит,

отправятся в Южное, к родным. И мы с мамой побросали свои пожитки в собачью упряжку и отправились в тундру. Упряжку вел уголовник Черкашка. Он оказался сообразительным, быстро научился управлять собаками, откормленными и хорошо обученными, так что сани скользили легко и быстро. Для них 40 километров до Южного были просто пустяком. Вскоре мы достигли поселка, оставалось километров десять до хибарки, где жила Тамира, но местный начальник решил иначе. Только чтобы отомстить, не разрешил нам с мамой ехать дальше. Поселили нас тут же, в какой-то финской семье. Финны сюда были эвакуированы из Карелии и даже не считались ссыльными, потому что не подписывали позорный документ о вечной ссылке и запрете менять местожительства, но все равно никуда не могли деться, так как юридически свободными людьми не были.

Зима изнуряла не только нещадными холодами, но и однообразной тьмой, которую прерывали разве что красочные сполохи северного сияния. Они никогда не повторялись ни по форме, ни по цвету – природа, очевидно, создала северное сияние, чтобы как-то оживить это белое безмолвие, не подающее даже признаков жизни. Звери зимой мигрировали на юг, ближе к лесной полосе, где было больше пищи. Здесь оставались только люди, доставленные сюда силой и брошенные на произвол судьбы. Зимой морской лов рыбы не вели, ссыльные латали и плели новые сети. Обычно из своих хибар они сходились в самом большом бараке поселка, где за работой можно было перекинуться несколькими словами, попеть и ждать весны, которая, может быть, принесет какие-то перемены. В Мисходном оставались только те, кто ловил рыбу в реках. Один из самых страшных надзирателей, Антон Иванович, которого ссыльные называли «маленьким Сталиным» не только из-за внешнего сходства, но и из-за жестокосердия, придумал разместить рыболовецкую бригаду на отмели посреди реки. Делать нечего. Пришлось вбивать в отмель сваи, ставить палатки и жить посреди реки в хилых жилищах, изредка добираясь на лодке на берег за продуктами.

Беда подкрадывается незаметно, но на сей раз она заявила о себе страшным воем – поднялась буря, которая с каждой минутой усиливалась. Собравшиеся на берегу с ужасом смотрели, как под огромными, нагнанными с моря волнами исчезает отмель со всеми рыбаками. Несчастные стали спасаться кто как мог. Кому-то удалось ухватиться за

плывущее бревно или конец доски, и буря погнала их вверх по реке. Какая-то русская семья, муж и жена, вцепившись в бревно, пытались выбраться на берег. В десяти метрах от берега окоченевшие руки женщины выпустили бревно, и она скрылась под водой. Муж выбрался на берег, повернулся лицом к бушующему течению, тут же упал и умер. Кто-то из рыбаков успел запрыгнуть в лодку, которая еще держалась на якоре. Внезапно один из них заметил тонущего в нескольких метрах от них своего брата. Недолго думая, он схватил топор и хотел обрубить якорь, но молодой немец Володя вырвал из рук товарища топор и оттолкнул его – отпустить лодку на волю волн означало смерть всем, в ней сидящим. И тут же у всех на глазах могучая волна поглотила пловца безвозвратно. К сожалению, жизнь остальных тоже висела на волоске – волны заливали лодку и в любую минуту грозили сорвать ее с якоря и перевернуть. Володя велел мужчинам вычерпывать воду, а сам старался удерживать лодку против ветра. Они боролись уже из последних сил. И тут буря притихла настолько, что можно было послать за ними катер. Он забрал промокших, совершенно обессиленных рыбаков и направился вверх по реке в надежде найти еще кого-то. И действительно, вдали они увидели дым – у костра сушились спасшиеся. Кому-то из них удалось сохранить тщательно завернутые спички сухими и разжечь костер. Спички спасли людям жизнь – и согрел их, и дымом указав их местонахождение, в противном случае на этих просторах их вряд ли сумели бы найти. На берегу рыбак, потерявший брата, подошел к Володе, пожал ему руку и поблагодарил за спасенную жизнь. Никто не ожидал, что маленький, хрупкий музыкант способен в минуту опасности действовать так решительно.

Володя ничего не ответил, снова притих, замкнулся. Он никогда не был словоохотливым, зато звучала его скрипка. Как часто длинными темными ночами, когда ссыльные, подавленные и хмурые, вслушивались в вой метели, неожиданно в него вплетались звуки скрипки. Исчезали и мрачное жилище, и черная ночь, слушатели погружались в грезы, в мир музыки – то навевающей на размышления, грустной, то радостной и задорной. Если у кого-то возникало желание петь, Володя тотчас подхватывал мелодию. Ведь он в свое время был талантливым учеником Энгельсской городской средней музыкальной школы. Профессор пригласил тогда Володю с собой в Москву продолжать

образование, но началась война, и всех немцев без исключения сослали на восток – в Казахстан. Уже тогда проявился сильный характер юноши – Володя пытался сбежать, но оказался здесь, на берегах Пясины.

Скрипач-рыбак стоял на берегу реки и смотрел в ее зеленую глубину, которая поглотила его единственное богатство – скрипку. Это была самая большая Володина любовь, величайшая мечта его жизни. Он играл на скрипке по двенадцать часов подряд, она кормила его в голодные годы на Украине, когда вечерами он играл в кабачках, на свадьбах – кое-что зарабатывал на пропитание. Может быть, сейчас скрипка играет реквием погибшим, которые покоятся на дне вместе с нею? Кто знает! Для Володи звучать она больше не будет никогда. Суровая действительность оборвала какую-то струну в душе Володи – чуткие пальцы музыканта никогда больше не коснутся королевы инструментов – скрипки. Несчастные ссыльные постепенно утрачивали все – дом, родину, близких, свои надежды и мечты. Оставалась голая жизнь, но такие жизни гасли одна за другой. Каприз надзирателя потребовал пятнадцать человеческих жизней.

И снова наступила зима. Вообще-то казалось, что из времен года здесь существует одна зима, которая прерывается долгим днем, который называют здесь летом, и снова приходит пора метелей и морозов. На три месяца в году здесь исчезает даже солнце, и хотя в марте оно появляется, до конца зимы еще далеко.

Особенно долгой эта зима показалась финнам, окольным путем они узнали, что с Диксона можно уйти на все четыре стороны, так как они считаются людьми свободными. Но до Диксона двести километров по тундре, ни дорог, ни ориентиров. И все-таки весной финны собрались и тронулись в долгий путь.

Условия лова становились все труднее, так как рыбы становилось все меньше. Когда наступила очередная, вот уже пятая зима на крайнем севере, начальство внезапно решило, что поселок Южное следует ликвидировать. Всю утварь и вещи сложили в собачьи упряжки и, несмотря на суровую погоду, караван отправился в путь на Мисходный. Но оставить людей здесь не предполагали. На реке, примерно в четырех километрах от центра, был небольшой островок Чайка, где уже построили небольшой поселок немцы. Там же поселили рыбаков Южного.

В драматической ситуации оказались и островитяне. Ледоход на реках Севера действительно грандиозное зрелище, если наблюдать за ним на безопасном расстоянии с берега. И совсем иные чувства вызывает стихия, когда ты находишься на крохотном островке посреди реки. Огромные ледяные глыбы со всех сторон давят на остров и с фантастической скоростью, словно живые, наползают друг на друга. Когда гора льдин достигает высоты многоэтажного дома, она с грохотом рушится. Глыбы льда разлетаются во все стороны, и человек, оказавшийся поблизости, должен нестись со всех ног, чтобы не произошло несчастья. Островитяне, отрезанные от всего мира, вынуждены были день и ночь слушать треск ломающихся льдин, беспомощно ожидая исхода. В любую минуту горы льда могли снести с островка все, что на нем находилось. Но Бог все же сжалился над людьми, и они остались живы. До построенных хибарок лед не добрался. И люди остались там жить и работать.

На Чайке условия рыболовства были особенными. У самого берега островка была большая глубина, поэтому большие белые киты проплывали близко от острова. Рыбаки следили, не покажется ли где фонтан воды, не блеснут ли могучие спины, иногда и с малышом на спине. Тут же закидывали сети, так как киты всегда шли за косяком сельди, разгоняя рыбу в разные стороны. И всегда были удачные уловы.

В маленькой хижине я осталась одна и занималась вязанием сетей, так как эта работа у меня получалась. С нетерпением ждала весточки из Норильска. Как там мама? В начале лета весточка пришла – Ете Гедровска умерла в больнице. Умерла... Мамы больше нет, она покоится на Норильском кладбище. Никого из близких не было рядом, никто не проводил ее в последний путь. Люди здесь уходят так, словно они никогда не существовали на свете – погиб труд всей жизни, дом на родине порушен, дети умерли, самих их где-то зарыли, нет даже могильного холмика и памятной доски.

Шла зима 1948/49 года. Наконец ссыльным стали платить за их труд. В магазинчике в Мисходном можно было кое-что купить – продукты, керосин для лампы, бытовые мелочи. Не часто они проделывали эти четыре километра через реку, закупались на весь месяц.

Жила я в своей хибарке совершенно одна, но боль от потери мамы постепенно притупилась, и я стала ходить в большой барак, где собиралась по субботам молодежь, вместе пели, танцевали, болта-

ли. Мне все больше внимания стал уделять Володя – тот самый хрупкий скрипач. Наконец мы решили соединить наши жизни.

Следующей осенью рыболовецкие бригады стали постепенно ликвидировать, и ссыльным разрешили уехать в Норильск. Собрались и мы. Путь предстоял долгий – по реке Пясина 500 километров на юг. Но очень рано грянули холода, и пароход застрял во льду. Высадили пассажиров в небольшом ненецком поселке – они уже стали появляться в тех местах.

Приехали мы в том, что на нас было, и с небольшими деньгами. Но это уже был город с многоэтажными домами, со всеми удобствами. Правда, ссыльным приходилось самим искать себе жилище. Чаще всего это была комнатка в бараке, зачастую с оставленной прежними владельцами шаткой мебелью. Было центральное отопление, электричество, туалет, правда, на улице, но Норильск строился. И, конечно, не комсомольцами.

Устроились на работу – Володя в шахте, я там же на комбинате лаборанткой. В городе мы смогли зарегистрироваться, но чтобы не было путаницы в списках высланных, я должна была оставаться на своей фамилии. Зато ребенок, которого мы ждали, будет носить фамилию отца – Баллах.

Казалось бы, все наладилось. Родился чудный мальчик. Но нас подстерегло очередное горе – в трехмесячном возрасте малыш заболел. Возвращалась из больницы я одна, судорожно сжимая в руках его одежду. И мы похоронили его рядом с мамой. В холодной мерзлой земле будет покоится теперь и мой сынок.

Только через полтора года, когда я поняла, что о себе заявила новая жизнь, я начала приходить в себя. Осенью 1953 года родилась Майя, еще через год Лиене. В 1955 году мы с девочками поехали в Томскую область, к моей двоюродной сестре Бените (урожд. Грасис), которая вместе с матерью была выслана в 1949 году. У них была корова, огород, и моим девочкам, страдавшим рахитом, это пошло на пользу. Что для одних ссылка, для других курорт – все в этом мире относительно.

Осенью мы вернулись в Норильск, а в 1958 году вместе с дочерьми я вернулась в Латвию. С мужем договорились, что он будет присылать нам деньги, пока мы не устроимся – зарплата в шахте у него была очень приличная, а потом приедет и он сам. Через год на родину вернулась и Тамара с Арнольдом и дочкой. Устроились мы в Цесисе. В Сибири провела я 17 лет...



*Аустра, мать Ете, сестры Тамара и Майга*



# РУТА ГЕРХАРДЕ (АЛКСНЕ)

родилась в 1926 году

Я родилась в 1926 году. Жили в Арлаве, в собственном доме, и оттуда нас забрали. Отца в ту ночь не было дома, он уехал в Яундубулты, где мама унаследовала дачу. В три ночи в окно постучали, вошли трое с оружием и спросили, где отец. Мама сказала. Обрезали телефон, спросили, есть ли оружие. Когда мы сказали, что оружия нет, не поверили, открыли ящики, стали проверять. Потом сообщили, что увезут нас в другое место. Ехать придется далеко. Дали два часа на сборы. Ну что можно собрать за два часа на семерых детей? Мама разбудила меня, чтобы я помогала одевать остальных.

У мамы был комод, в ящичках которого хранились драгоценности. Она взяла их, но такой Андерсонс (он уже умер, а когда я вернулась домой, он на меня даже глаз не смел поднять) стал вырывать их у нее из рук, приговаривая: «Это вам не потребуется, не потребуется!». Но русский сказал: «Отдайте, возможно, это спасет им жизнь!». Только так мы и вернули свое золото. Латыши вели себя бесстыдно.

Все, что могли, покидали в мешки. Лошади стояли запряженные, кто их привел, не знаю. Посадили нас на телегу и повезли в Арлаву. Потом через Талсы. Там жила бабушка, я все высматривала, не увижу ли ее. Привезли в Стенде. Высадили, запихнули в вагон. Там уже были люди. Помню, были и две еврейки, у них было много вещей. Они сказали: «Госпожа Герхарде, не волнуйтесь, у нас много вещей, мы с вами поделимся». Евреек посадили возле «туалета», многим не нравилось, что у них много вещей.

В Стенде простояли три часа, пришел папа, принес шубу и корзиночку с продуктами, которую прислала бабушка. Он узнал, что взяли маму со всеми

семерыми, пошел в полицию и заявил о себе. Он нас подбадривал, говорил, чтобы не плакали, держались и надеялись, возможно, будем еще вместе. Взял на руки полуторагодовалого Янитиса, погулял с ним, и ему приказали следовать за ними. Больше мы отца не видели.

Путь был нелегкий. В вагоне у одной латышки тяжело заболел шестилетний ребенок. В дороге он умер... Когда поезд остановился посреди леса, вошли солдаты и выбросили ребенка... Женщина страшно кричала...

Привезли нас в Вознесенск. Там стали делить. Мы доехали до Енисея, там уже поджидали подводы, нам сказали, что повезут в колхоз, носящий имя Лопатина. Расположен он был в 100 километрах от Красноярска. Языка я не знала, но какой-то добрый русский гладил меня по голове и успокаивал, мол, все наладится...

Когда приехали в колхоз, нас уже поджидала большая толпа. Всем не терпелось увидеть, как мы выглядим, видно, думали, что привезут зверей, они ведь не знали, что такое Латвия. Председатель сидел за столом и всех регистрировал. Стоявшим вокруг русским женщинам он сказал: «А теперь выбирайте, кто кого возьмет к себе! Каждая должна взять одну семью!». Когда подошла наша очередь, он спросил: «Кто возьмет к себе с семерыми детишками?». Поднялась какая-то женщина. Мы думали, что у нее большой дом... Но была у нее одна комната. Она сказала, что мальчики могут спать на

печи, остальные на полу, а маме дала железную кровать, на которую накидала каких-то тряпок... Но нам хотелось есть... Она вытащила из печи большой чугунный горшок с супом и вручила его нам, дала и хлеба.

*По счастью, мы не болели. Мама знала нас в лес, заставляла есть почки, молодые побеги. Горькие, невкусные, но ели – витамины.*

Наутро бригадир тут как тут: на работу! Хозяйка наша удивилась: неужто же с дороги не дадут отдохнуть! Не дали.

Была такая Анна Битмане из Талсы, вместе с нею пололи картошку, кто-то собирал камни, бороновал. Каждому вечером выдали кусочек хлеба, но как его не понесешь домой, когда в каждом окне торчит ребенок и ждет, что ему принесут что-нибудь поесть. Мама по ночам вязала солдатам носки.

А 18 ноября маму отвезли в Вознесенск, в больницу, так как она ждала ребенка. Мама сказала, чтобы к ней не приходили, потому что в дороге могут напасть волки. Мы боялись и слушались. Эрика родилась 18 ноября. Подумайте, в какой день! В день рождения Латвийской республики! Как мы радовались маленькой сестричке! Но у мамы не было молока. Она пошла на склад, выпросила овса, мы прожарили его в русской печи, потом мама раздала всем по горстке, мы его чистили, толкли и варили тум. Сестричка выжила. На столе всегда была какая-то каша, кисели, а «овес» нам уже надоел по горло.

В 1942 году мы получили письмо от отца. Он писал, что работает в Кировской области на железной дороге и справляется. Как мы были рады весточке! Но через некоторое время пришло письмо от Лейтса: «Отец ваш уехал на песчаную горку». Так в 1942 году мы остались без отца. Мама билась одна. Позже обстоятельства немного выправились – у нас уже появился огород, посадили очистки – выросла крупная картошка. Как-то существовали. У мамы была массивная золотая цепочка, ее рубили на звенья и отвозили в Красноярск, сдавали в магазин, в обмен получали продукты. Давали и пряники. Мы просили хоть один пряник, но мама говорила: «Что вам от этого пряника достанется? Мы их продадим, и будет у нас целая буханка хлеба». И она была права. Она вообще была хозяйственная, работала с утра до вечера.

По счастью, мы не болели. Мама гнала нас в лес, заставляла есть почки, молодые побеги. Горькие, невкусные, но ели – витамины. Ели и черемшу. Так и жили.

Наступил 1946 год, когда дети могли уехать домой. Маму оставлять не хотелось, но она сказала, что одна нас не «потянет», надо ехать в Талсы – к бабушке и к тете, маминой сестре.

Привезли нас в Красноярск. Сели в вагоны, и начался наш путь в Латвию. Приехали в Москву,

хотели нам показать город, но куда таких оборвышей поведешь...

В Риге нас встретили сотрудники детского дома с улицы Кулдигас, всех отвели в баню. Сняли с нас все, а мы плакали, думали, лишают нас последней одежды. Успокоили, сказали, что выдадут другую. Вымыли нас, переодели, и Делиньш говорит: «Ну, что, дети, вы нам из Сибири привезли? Вшей!» Но мама там каждое утро проглаживала нашу одежду горячим утюгом. Вши появлялись от голода, не такие уж мы были грязные. В детском доме на две недели был объявлен карантин. Но было там, как в раю, – кормили, спали на кроватях.

Эрика была очень слаба. Приехали за нами дядя с тетей, отвезли в Талсы. Надо было учиться. Куда мальчиков девать? Отправили в Ригу в профтехучилище. Я пошла в медучилище, больше нигде не брали. Знакомые доктора в Талсы сказали – окончит, возьмем на работу. Так я всю жизнь и проработала медсестрой.

В Талсы у бабушки был дом, у нее мы и жили. Позже его снесли, построили новый. А еще позже я «отвоевала» себе квартиру. И мама уже была в Латвии – приехала вслед за нами, в декабре 1946 года.

5 декабря 1949 года был праздник – натанцевалась я в Доме культуры, а назавтра вызывают меня с работы. Доктор Криевиньш говорит: надо возвращаться в Россию. Боже ж ты мой! Не помню, как добралась до дома, а там уже двое с винтовками. Забрали нас всех, и братьев взяли в Риге. Привезли в Центральную тюрьму, где просидели два дня. Обвинили нас в том, что мы самовольно покинули места поселения. И снова вагон с решетками на окнах. Сказала – не сяду, я ничего плохого не совершила. Меня грозилась пристрелить, ударили прикладом по спине и втокнули в вагон. На одной цыганке порвали шубу, так как она не хотела заходить в вагон.

Здесь уже было много заключенных. Снова оказались в Красноярске, где нас поджидала тюрьма. Начальник тюрьмы потребовал документы. Сопровождающий протянул их, начальник посмотрел и вернул со словами: «Моя тюрьма не для детей». Отвезли нас в милицию, уложили на пологий пол. Не одни мы там оказались – пьяные ругались, изрыгали содержимое на пол. Несколько дней нас заставляли мести улицы, потом отправили в Ачинск. Шли пешком, вместе с заключенными, на ногах туфли. А на улице декабрь, мороз страшный. Не знаю, как выдержали.

Привели нас в барак, затолкали всех в маленькую комнатку, смастерили нары в два этажа. Мальчики пошли помогать шоферам, заработали копейку, по крайней мере, поели. Как-то утром собираюсь на работу, собираются и заключенные, которые обитали там же, где и мы. Спросили, куда иду? Я ответила, и они отвели меня в местную больницу. Стала работать с окулистом доктором Шалагиной. Можно было уже сказать, что теперь все хорошо.

Жили в ожидании дня, когда можно будет вернуться в Латвию. Тянуло домой, думали о Латвии постоянно, говорили о возвращении, о доме. Мама была большая оптимистка и верила, что мы вернемся на Родину. Как только разрешили, мы сразу же уехали.

Брат, правда, остался – женился там. С женой приезжали к нам в гости, но дорога обходится

в 1000 латов. Живут они в Ачинске, жена была учительница, он работал на электростанции. И там у них, как у ссыльных, гораздо больше привилегий, чем у нас тут. Он не жалуется. Да и что он сюда поедет? Здесь уже все чужое, вся жизнь там прожита.

Когда остаюсь одна, вспоминаю Сибирь. Вспоминаю хорошее, а не то, что причинило боль. К нам кое-кто из тех, с кем были вместе, приезжает в гости. Поговорим, повздыхаем. Что уж теперь. Такая выпала судьба. Но я и по сей день не понимаю – что такого ужасного мы совершили, что подвергли нас таким страданиям? Главное, вывозили детей. Почему? Сестра отца и не видела! И ей пришлось страдать за грехи отца, даже не зная, как он выглядел.

Счастье, что мама всех нас привезла живыми и здоровыми. Спасибо ей за это!



*Отец Карлис и мать Каролина*

# АЛМА ГИГА (ОЗОЛА)

родилась в 1929 году



Родилась я в 1929 году в доме «Голдрейни» Руцавской волости. У родителей было хозяйство. Отец был приемным сыном. Нас приучали к работе, присматривал за нами дедушка, он многому меня научил – плести корзины, шляпы. В России это пригодилось.

Пасла скот, постолы утром все в росе. Все песни перепела. В Янов день 1940 года хотела всем сплести венки – и коровам, и родителям, но был у нас очень вредный баран Фрицис. Разметал венки, боднул и меня. Коровы мои зашли в соседский сад, вышел сам сосед. Я испугалась, но он ничего не сказал, только какой-то расстроенный прошел мимо.

Украсила коровам рога, иду домой, радостная. Навстречу мама, мрачная, даже не улыбнулась, я даже обиделась – ну как же так? Позже из разговоров поняла, что что-то не так.

В клетки за шкафом стояли два пейзажа, я с уголка поцарапала – на картине красивая дама, на другой – красивый господин. Дедушка открыл – оказалось, это царь и царица. В школе надо было учить русский язык, рисовали стенную газету.

Мрачное утро 14 июня – хотелось спать, вошла мама и велела подниматься, одевала полторагодовалого Карлитиса, Вилнис обувался, и я поняла, что происходит что-то страшное. Мама кидала на расстеленное одеяло перину, подушки. Отец ходил хмурый. Была суббота, и возле колодца стояла бадья с замоченным бельем. Мама вытаскивала простыни и мокрыми засовывала их в мешок. Посадили нас в грузовик, я еще оглянулась на три березы. Плакали, по дороге забрали еще людей.

В вагоне были Матисоны из Лиепай, еврейская семья. Отцы были в нашем вагоне. Нашего папу из вагона вывели и увели навсегда.

Ехали ужасно, ящик с мясом пропал, остался мешок с мукой и мешок с солью. Белье в мешке заплесневело. В дороге родился и умер ребенок. Тетя Коха вышла его похоронить и сама чуть в степи не осталась, прицепилась к последнему вагону.

Ехали долго, появились насекомые, ведь мы не мылись. Детям нечего было есть. На какой-то станции мама дала мне немного денег, и я купила кусочек сыра на нас на всех.

Приехали на конечную станцию, высадили возле огромного барака, пешком пошли на пристань. Трудно было с маленькими братьями и с тюками. Какой-то дяденька упал, помочь ему не могли. Он так и остался лежать в грязи.

Вышли в Новоселово, из колхозов приехали нас разбирать. Оказались в бедном колхозе. Разместили в клубе, дали вкусный суп с бараниной и пшеничный хлеб.

И вместе с семьей Мусиных поселили в пустом доме, в четырех стенах. Прожили мы там довольно долго. У тети Мусиных было с собой два больших чемодана с вещами, даже фарфоровая посуда была, меняли ее на хлеб и молоко.

У нас дела обстояли хуже. Мама начала работать, никакой работы не боялась. И сено косила. Всякое бывало. Однажды приходит с улицы братишка, глаза огромные, странный такой. Оказалось, поел белены. Тетя Мусиных достала молоко, и все обошлось. У мамы было трое детей, языка она не знала, профессии не было. Мы старались маме помочь, собирали ко-

лосья, мороженую картошку, пекли лепешки. Мололи зерно В колхозе выдавали овсяную мякину, варили ее. С голоду, по крайней мере, не умерли.

За шкурку суслика давали муку и сахар. Брали ведерко, палку и шли

*Из лагерей стали  
возвращаться  
отцы. Пришел  
Дрейманис  
и Сакварс,  
пришли больные,  
завишневшие.*

ловить сусликов. Шли и думали о блинах. Суслики, как увидят нас, сразу в норку. Заливали норки водой, а они не выходят. Наклонилась, вижу – суслик, весь мокрый, дрожит и смотрит мне в глаза. Бросила палку, сказала: «Пошли домой!» Я не выдержала, ударить не смогла. Братья этого не понимали. Они и потом ловили сусликов.

В 1-й класс все ходили учить язык. В Латвии я окончила четыре класса.

Всю жизнь переживала, что не смогла получить образование. Это и было страшнее всего. Плакала. Тетя Мусиных была учительница и договорилась, что меня отпустят в школу. Мама тогда работала в овчарне. Стригли овец раз в год. Все загородки были в шерсти. Мама ее собирала, пряла, и получались вязаная юбка, джемпер, толстые тапки. Тетя Мусиных дала мне большую теплую кофту. У мамы был большой платок, меня им повязали, и я пошла в школу. Я так радовалась, что могу учиться. Школа была большая, с большими окнами, но мальчишки летом рогатками выбили несколько окон. Не хватало чернил, не было бумаги.

Чернила делали из сажи. Латышские дети учились лучше всех.

Из лагерей стали возвращаться отцы. Пришел Дрейманис и Сакварс, пришли больные, завшивевшие. В комнатухе в каждом углу ютилась семья, для них места не было. В деревне это было событие – появились мужчины, русские женщины звали их к себе в баню, кормили. Для Сакварса это кончилось трагически, он наелся и на второй или третий день умер. Дрейманис решил пешком пробираться в Латвию. Его дальнейшая судьба мне неизвестна.

К семье вернулся Яунземс, он был агроном, ему предложили работу и он ушел туда. Звал и маму, и весной мама переселилась туда. Я решила остаться, чтобы кончить пятый класс. Мыла полы, меня кормили. Собирала колосья, картошку, ела середку пионов. Окончила школу, и пешком предстояло пройти 50 километров. Отправилась в Новоселово. По дороге меня подобрала грузовая машина, потом снова пешком. Шла вдоль берега Енисея, а там дороги расходились. Свернула налево, встретила татарина, за голенищем у него кинжал. Спросила дорогу, оказывается, иду не туда.

Пошла дальше, нарвала цветов. Вижу, что заблудилась. Наткнулась на хижину без крыши, двери настежь. Забралась наверх, смотрю – вдали село, внизу лес. У подножья горы увидела сад и людей.

Пошла, спрашиваю: где тут Подсобная – да она и есть – и я оказалась у своих.

Самая большая мечта была попасть в Латвию. В 1945 году я помогала маме, платили и зарплату. Приехал районный ветврач, спросил, не хочу ли я у него похозяйничать. У него было двое детей и корова. Продуктов хватало, у него были две красивые комнаты, плита. Начала хозяйничать, делала картофельные клецки с подливой. Когда его хозяйка Мешалкина вернулась из Ленинграда, мое хозяйничанье окончилось. Воду носила из проруби в Енисее, полкилометра идти надо было. Смотрю, ребята на коньках катаются, на лыжах. Пошла в вечернюю школу, но все объединить было сложно. Пока хлев чистила, исчезла корова Беяна, она была тельная. Натянула сапоги и пошла в горы искать. На третий день корова сама пришла домой и привела еще одну.

В 1946 году можно было уезжать, но нам жаль было расставаться с мамой. А тут написала Астрида, что она дома и спит в белой постельке. Мама собрала нас и отвезла на бычке на Новоселовскую пристань, на последний пароход. На пристани было полно финнов, ждали пароход. Мама поехала домой и назавтра вернулась с хлебом.

На третий день пароход причалил, и началась толкотня. Все плакали – может быть, маму никогда больше не увидим. Сошли с парохода и поехали домой. Я лежала на печи и плакала. Дверь в страну счастья захлопнулась.

В следующий раз была у Мешалкиных, в Новоселове жила госпожа Стуритис, жила госпожа Бирзникс, часто бывала у них. Госпожа Стуритис подружилась с комендантом, у которого надо было отмечаться. С его ведома госпожа Стуритис отправилась в путь и взяла с собой меня. Было это в августе 1948 года. В дороге говорили только по-русски, но у нас были латышские книги. В купе ехал еще один мужчина – он зашел к нам и сказал: контроль, проверка билетов и паспортов. Паспортов у нас не было. До нас еще уехала госпожа Пуке с Янитисом. Она прислала нам телеграмму: еду, ждите. Решили, что она что-то перепутала. Оказалось, что ее в дороге арестовали, мальчик остался один, но тогда мы этого не знали и не поняли.

Попытались не показать, что взволнованы. Приехали, я чувствовала себя счастливой, но счастье длилось недолго. Приехала я к бабушке с дедушкой, во время войны их выгнали из дома, не дом, развалина – окна выбиты, картина ужасная, зато приобрели скотину – пять коров и лошадь.

Я радовалась, что пойду в школу, приехала я 23 сентября, занятия уже начались. Пошили мне полотняную юбку, ящик для книг покрасили. Радостная пошла я в 6-й класс. В России окончила пять классов. По латышской грамматике знаний никаких, все забылось. Но школа мне казалась самым главным в жизни. Знания не исчезают. Был такой строгий учитель латышского языка Тераудс, он преподавал и математику. Написала первый диктант, старалась писать красиво, думала, будет пятерка. Получила и смотрю – красным-красно от ошибок и внизу жирная двойка. Потом сидела за книгами, 6-й класс кончила без троек, 7-й тоже.

В 1949 году бабушку с дедушкой забрали и увезли, и остались мы с братом вдвоем. Пришли описывать имущество, бросилась я к одному на шею, умоляла оставить нам на пропитание. Оставили.

Стали думать, что делать дальше. Решили, что школу не бросим. Привыкли обходиться малым.

Летом работали в колхозе, убирали хлеб. Маленькая я была, но все выдержала.

Мама приехала, не помню, в каком году, вступила в колхоз, работала дояркой. Брат остался в России, отслужил, вернулся, но еще и сейчас говорит с акцентом.

Окончила 7-й класс, работала в библиотеке. Вилнис уехал учиться в Каздангу, у него были большие легкие. Окончил техникум. Об отце узнали после реабилитации. Умер он в 1942 году в Гулаге. Вилнис заочно окончил и Сельскохозяйственную академию.

Работала в библиотеке и в Нице училась в вечерней школе, но не доучилась. Классный руководитель возил меня по вечерам в Лиепаяу, в вечернюю школу, но и там не получилось, не всегда он мог меня подвозить. А так как я работала в библиотеке, поступила в техникум культурных работников и успешно его окончила.



*Алма с братом Карлисом*



## КАРИС ГИГА

родился в 1938 году

Жили мы в Руцаве, в «Галвеи», возле самой литовской границы. 14 июня в четыре утра, как рассказывала мама, во двор въехали две машины. Папу взяли сразу же, маме дали час, чтобы собрать вещи и детей, так как всех увозят. Мама разволновалась, подняла сестру, та подняла меня, стала одевать. Что успели собрать за час, то с собой и взяли. Взяли перину.

Посадили в машину и привезли в Торе, в 14 километрах от Лиепаи. Загнали в вагоны для скота и увезли в Сибирь. Как ехали, не помню. Привезли нас в Новоселово, в 200 километрах южнее Красноярска. Оттуда на лошадях в Святологово. И три семьи поселили в один дом. Маму послали на работу – косить косой, позже она работала в школе уборщицей и истопником. По воскресеньям рубила в лесу дрова для школы. Вначале в Святологово электричества не было – жгли лучины. С фермы мама приносила овечьи ноги и головы, их варили. Однажды волк утащил овцу с выпаса. Мама побежала за ним, и волк овцу бросил. От овцы ей дали голову и внутренности. Было это в 44-м году – приехал Янсонс из Руцавы, позвал маму работать в другое место. В том совхозе было подсобное хозяйство, еще дальше за 250 километров. И мы уехали. Он был агроном, выращивали овощи для Севера. Там были теплицы, а летом все росло на улице. Кажется, в бараке жили три семьи. Зимой мама ухаживала за лошадьми. В 44-м году зимой я лежал без сознания. Спасла меня ранняя весна, появилась крапива. Мама ее тушила, давала мне и подняла меня на ноги. Там жили суслики, я брал ведро с водой, выливал воду в норку. Суслики выскакивали, я их душил, свеживал, и на сковороде мы их жарили. Мясо казалось таким вкусным!

Ничего более вкусного в своей жизни я не ел! Снег на полях растаял, мы пошли собирать перемерзшую картошку. Мама ее пекла, и жизнь казалась легче. Когда совсем подсыхало, ходили подбирать колося, но это не разрешалось, начальник не разрешал, гонял нас. В 1944 году, на Новый год, мама пошла мне котомку и пошел я просить хлеба. Пели – кто-то прогонял, кто-то что-нибудь даст. Летом в Чулыме ловили рыбу. Первого поймал окуня – вот где было радости. Тяжело было. С ребятами не ссорились, даже подкармливали. В подсобном хозяйстве были настоящие друзья. Мне кажется, я сразу заговорил по-русски. Дома говорили по-латышски. В подсобном хозяйстве мы были единственной латышской семьей. Потом мы жили в землянке, там были мыши, клопы и одно окошко.

В 1945 году пошел в школу. В 1946 году детям разрешили уезжать. Сестра с братом уехали, мы с мамой остались. Я не хотел уезжать от мамы. Нам дали клочок земли, посадили картошку. Какой урожай вырос! Собирали землянику. Ловил в Енисее рыбу, жить уже можно было. Мама работала в совхозе, я одно лето пас совхозных свиней, потом возил сено.

Учился в деревне Трифоново, там было только четыре класса. В 5-й класс надо было ходить за 15 километров, в Куртаку. Жил в интернате, продукты брал с собой. Вечером в субботу шел домой, в воскресенье вечером – обратно. Окончил семь классов, в 8-й класс пошел в Новоселово, но там надо было платить. Денег у мамы не было, и после 8-го класса от школы отказался.

Отправил документы в Красноярск, в техникум. Прислали документы обратно – репрессированных

*Суслики  
выскакивали, я их  
душил, свеживал,  
и на сковороде мы  
их жарили. Мясо  
казалось таким  
вкусным! Ничего  
более вкусного в  
своей жизни я не ел!*

не принимают. Было это в 54-м году. Устроился работать на железную дорогу – менять рельсы на магистрали Москва – Пекин.

Отца на другой машине увезли в Вятлаг, в 1942 году его так били, что отбили все внутренности, и он умер. Об этом мы узнали в 90-е годы из архивных документов. Мама очень много рассказывала о Латвии. Когда ехал домой, не мог дождаться, когда же наконец ее увижу, как она выглядит. В поезде не отходил от окна. Латвия казалась сказкой.

Это было в 1957 году, когда я приехал в Латвию в отпуск. Сестра встретила меня в Риге, мы поехали в Лиепаю. Потом нелегально в Ницу – это была запретная зона, туда не пускали. Гостил у мамы до осени, и случилось несчастье – маму ударило молнией. Я вернулся. Там уже думали, что не вернусь. Потом меня призвали в армию. Семь месяцев учебы в Красноярске, потом послали служить в Грузию. В Красноярске я освоил всю технику, меня даже наградили. В Грузии отслужил два года.

Приехал в Латвию, заехал в Лиепаю. Но надо было возвращаться к месту призыва, у меня было только свидетельство о военной службе. Потом получил паспорт и прописался в Лиепае, устроился на машиностроительный завод, где проработал 30 лет. С 1-й категории дорос до 6-й. Делал аппаратуру – 10 лет не имел права разглашать об этом. У меня была охрана.

Латышский язык забыл. Когда служил, сестра присылала латышские книги. В Латвии на заводе коллеги все были русские. У меня в душе нет ни народных песен, ни народных танцевальных мелодий – все это закладывается в детстве. Я не жалею, что жил в России, – мол, грязь, пьянство! Я там не пил, в карты не играл. Читал книги, научился играть в шахматы.

То, что случилось, простить невозможно. Раскидало нас по всему свету, двоюродные братья живут в Канаде, в США.



*Маргрета и Карлис. Сибирь, 1947 год*





## БРИГИТА ГОБА (ШВАРЦБАХА)

родилась в 1938 году

Я Бригита Шварцбаха. В момент высылки мне было три года. Отец был молокозаводчик, но незадолго до ссылки работал в отделе кадров Университета. Это, очевидно, и послужило причиной депортации. Отец не состоял ни в одной организации, во всяком случае, я думаю, что нет. Он высказался о комиссарах, которые были назначены, в том духе, что не им учить, и впал в немилость, так как позже, когда мы оформляли документы о реабилитации, в бумагах были «донесения». Прочсть мы их не могли, видели только подпись – Лифшиц, очевидно, доверенное лицо. Мама вела дом. Была у меня еще маленькая сестренка Зигрида.

14 июня 1941 года часов в 12 ночи раздался звонок. Отца не было дома, мама переволновалась, потому что за нею всюду ходил вооруженный солдат, даже одеться она не могла, он следовал за ней. Тогда один из пришедших открыл шкаф, достал простыню, расстелил ее на полу и принялся складывать зимние вещи. Мама еще сказала: «Зачем мне зимние вещи?» – «Ну, если не вам, то вашим детям пригодятся». Так что кое-какие вещи у нас с собой были. Была у нас одна вилка, одна ложка и один нож. Сестре в тот вечер поставили компресс. И уже под самый конец пришел папа. Дворник, правда, его предупредил, чтобы не входил, но он вошел. И нас всех в грузовик и на станцию Шкиротава. Разделили – мужчин в один вагон, матерей с детьми в другой. Из Риги эшелон тронулся в мамин день рождения. Повезли через Даугавпилс, там в первый раз дали суп. Никакой еды от волнения не взяли. Положение было ужасающее. В маленьких вагонах ехали на нарах в два этажа.

Отец, словно бы предчувствуя, принес домой много фруктов, и на мамин вопрос: «Зачем так много?», ответил:

*Мама видела только  
силуэты. ...от него  
приходили весточки.  
Он писал, что боится  
любого дуновения  
ветра – к тому  
времени он весил 43  
килограмма. Это  
мужчина ростом под  
метр девяносто!*

“Ешьте, пока есть, никто не знает, как будет”. Нас кто-то хранил, многие страшные болезни нас миновали. Когда болела вся деревня, мы спаслись.

Из поездки в поезде запомнились отдельные эпизоды – платице в цветочек, помню, как переезжали Урал, а на вершине горные козочки. Помню, как наш эшелон остановили возле какого-то пруда и всех погнали мыться. По другую сторону был поселок и открытые уборные с выходом к пруду. Как увидели, так мыться уже не могли.

Раздавались крики, и тогда двери открывались и вносили суп, вносили воду. Давали хлеб, кирпичики, сырой, разваливающийся. А на краю села конвойные вытряхивали мешки, в которых лежал хлеб, и сбежались местные. Видно, им было еще хуже.

Помню, как шептались, что началась война. Эшелон стоял, а навстречу с Дальнего Востока шли эшелоны с солдатами. В Новосибирске мы были в начале июля.

В дороге было страшно. Умирили... Рядом с нами была мать с ребенком, у нее с собой не было ни одной пеленки, только зимнее пальто, которое она ему подкладывала. На нем он спал. Отчаяние, слезы были страшные.

В Новосибирске нас перегрузили на баржи, предстояла поездка по Оби на Север. Сестра, может быть, расскажет подробнее, как отец и еще четверо мужчин из эшелона уговорили охрану, и на барже наша семья ехала вместе. Довезли до Каргасока, выгрузили на высоком берегу Оби. Местным колхозам была предоставлена возможность набирать рабочую силу. Первыми выбирали передовые колхозы, они выбрали семьи, где были мужчины. Поэтому мы остались жить в 35 километрах от Каргасока. Начальники между собой

говорили, что делать с оставшимися семьями, потому что там было четверо детей. Один сказал: «Те сами сдохнут!». И они попали в Верхний Васюганск. Мы оказались в селе Щучий Мыс, там была четырехлетняя школа, колхоз назывался «Победа». Поселили нас у местных русских. Вместе с отцом мы были до 1942 года. Вероятно, его бумаги оказались в Вятском лагере, и его стали разыскивать. Просто так взять его, видно, не могли, и снова стали собирать бумаги – то он что-то не то сказал, то не так поставил забор, и отца судили. Запомнилась мне плохая дорога. Зимой ездили по реке. Пришел катер НКВД, помню, как все были напряжены, когда он подходил, в школе светились все окна, латыши ждали, что же теперь будет. Помню, как я вцепилась в руку отца, не отходила от него ни на шаг, заснула, обхватив его за шею. Мама хотела забрать меня, но уговорить меня было невозможно, ни по-хорошему, ни по-плохому, а когда я проснулась, его дома уже не было. И вошла какая-то и сказала: «Знаешь, твоего отца здесь больше нет». Его отправили в Каргасок, потом в Новосибирск, несколько раз пригоняли обратно, приговор зачитали только зимой. Гоняли его пешком, и один местный старичок рассказывал, что когда их ввели в дом погреться, обувь у них примерзла к ногам. Он был с какими-то людьми, а потом их всех собрали, и тех четверых тоже. В поселке жили сосланные в 1929 году с Алтая. Их выслали во время коллективизации. Сердиты они были на нас, мол, вы-то приехали на все готовое, а нас выбросили в болото, без ничего. Они рубили деревья, мостили дорогу, чтобы можно было выйти. Дети меня на улице обзывали: «Жидовка, жидовка!» Они не понимали, кто мы. Агитация тоже была ужасная, вначале они считали нас каким-то чудовищами. Постепенно, постепенно начали понимать.

Папу после этого я больше не видела. Суд состоялся перед Новым годом. Мама пошла, когда их уже гнали в Новосибирск, охранник сказал – ждите, сейчас они выйдут, а через минуту другой сказал – вон, они уходят по реке! Мама видела только силуэты. В Новосибирске он пробыл меньше года – от него приходили весточки. Он писал, что боится любого дуновения ветра, – к тому времени он весил 43 килограмма. Это мужчина ростом под метр девяносто! Мама отправила ему посылочку, но 23 октября 1943 года она вернулась, на ней было написано: «Освобожден 22 октября. Убыл по месту жительства». И так по сей день.

В 1946 году мы узнали, кажется, написала тетя из Риги, что Министерство образования организует группы, которые приедут за детьми. У тети было золо-

тое сердце, она была готова отдать все, что у нее было. Что-то организовали официально, что-то частным образом. Тетя расплачивалась одеждой. Приехала такая Валтере, у нее был список. Написали, что моя сестра родилась в 1931-м или в 1932 году, хотя она родилась в 1928-м. Помню, мама пришла домой чуть ли не в истерике, что мне придется ехать одной, что сестра ехать не может. И вот мы поехали, до Каргасока надо было пройти 35 километров, мама меня отвела. Там я жила три или четыре дня. Вокруг шушукались, я думала, от меня что-то скрывают. Это был последний рейс в навигацию, нас было 24 человека, потом нас посадили на пароход. Картина была жуткая, все рыдали, думали, что никогда больше увидимся. На пароход надо было пройти через баржу. Мама стояла на крутом берегу Оби как окаменевшая. Я думала только о маме, она стояла совсем одна, во тьме... Это было ужасно. Хлеба мы давно не видели, на ужин дали кусочек кирпичика, намазанный топленным маслом. Но мне не хотелось. Я смотрела на него, а один из мальчишек сказал, мол, она не понимает, что это такое. А я видела только маму... Пароход плыл медленно, и через два дня мы с одной девочкой ночью, в темноте пошли в туалет, и в дверях я столкнулась со своей сестрой... Девочка закричала, а я сказала, чтобы она не называла ее по имени. И тогда я поняла, почему шептались, видно, мама отдала все, лишь бы сестра тоже могла уехать. Помощник капитана обещал отвезти сестру в своей каюте до Томска. А в Томске выяснилось, что двое детей больны скарлатиной. И началась эпидемия. Всех с парохода поместили в какой-то пересыльный пункт, закрыли на карантин и не выпускали, пока все не переболели. У многих начались осложнения. После этого нас отправили в санаторий. У меня был миокардит, говорили, что все уедут, а меня оставят. Но там была сестричка, русская, замужем она была за литовцем, тоже высланным. В книге, которую написал Риекстиньш, упоминаются Валтере и Гайдзилуне. Так вот, она придумала, что сможет попасть к своей свекрови в Вильнюс и сопровождать больных детей, которых нельзя было оставить без медицинского наблюдения. Через знакомых она оформила командировочное удостоверение и должна была вернуться обратно.

В Ригу мы приехали 26 декабря, а выехали в октябре. Больше месяца пробыли в Томской больнице. Муж Гайдзилуне работал на железной дороге, через него достали вагон. В Томске мы встретились с группой Миллера, где были ребята из ближайших мест. В Ригу приехало 56 человек. В Томке нас одели. На мне было пальто, в котором я уехала в трехлетнем

возрасте, рукава надставлены. Когда я приехала, тетя держала меня за руку и горько заплакала. Но я не могла понять, почему она плачет.

На обратном пути мы тоже ехали в товарных вагонах, на станциях было много демобилизованных солдат. Когда ехали, все время приходилось быть настороже, никого в вагон не впускать, случались грабежи. У Валтере были какие-то талоны, она ездила за продуктами, брала с собой старших ребят, а оставшимся было строго-настрого наказано не открывать двери. Продукты нам выдавали по норме, но так как детей было больше, чем в списке, старшие выходили на станциях, кое-чем торговали. Цены тогда были умопомрачительные.

Мне никуда выходить не разрешали, я была одна из самых маленьких, была еще Иевиня, она ничего не помнит. Сестра за мной присматривала.

Помнится такой эпизод. Детям школьного возраста не разрешали ходить в школу. А в 1944 году разрешили. Школа была за 12 километров. Сестра жила у хозяйки, была у нее прислугой и ходила в школу. Ей давали 200 граммов хлеба, и в конце недели она обязательно приносила мне кусочек, примерно со спичечный коробок. Сестра меня любила. Один раз принесла, другой, а однажды хлеба не было. Забралась я в кровать и ужасно плакала.

В Латвии несколько дней были в детдоме на улице Куддигас. Были каникулы. Детей ждали, очевидно, раньше, уже потеряли всякую надежду. У детей были адреса тех, кому сообщили о приезде, и за нами приехали. Сестре было уже 18 лет, директор разрешил ей поехать самой, мы идем, я за ней... думаю, как Ригу она хорошо знает, и вот мы на трамвае приехали к тете. Тетя открыла нам... Вид у нас был, должно быть, ужасный – в новых валенках, пальто из хлопчатобумажной ткани, с блестящими пуговицами. Сестра рассказывала – когда ехали в трамвае, на нас оглядывались, рассматривали. Я плакала, но никто не задал нам ни одного вопроса, вероятно, такая картина после войны была привычной. Тетя, увидев нас, даже отпрянула. Завела меня наверх, там спала бабушка, укрывшись одеялом с головой. Она посмотрела, потом снова закрылась одеялом, видно, думала, привиделось. У нас и вши были, посадили меня посреди комнаты, отмыли. Мы просили, чтобы нас сфотографировали, но тетя боялась, а вдруг снова заберут, ведь сестра была без документов. У меня была какая-то бумажка, а у сестры ничего.

У тети была знакомая в Лесной школе, туда меня и устроили. Никакого туберкулеза у меня не было.

Видно, иммунитет на всю жизнь. Жило нас там пять семей. И был такой Акменс из Красного Креста. Видно, у них был туберкулез. Умерла его мать, щеки румяные, через год или два умерла его жена. Как вечер, так щеки у них розами расцветали, взрослые говорили, что это чахотка. Потом умер и сам Акменс. Мы, пять семей, жили в одной комнате, носовые платки, куда сплевывал, он сушил возле печки. Концентрация микробов была чудовищная. Когда мне в Лесной школе сделали пробу Пирке, рука распухла страшно, тетя все плакала, а докторша сказала – не плачьте, у нее иммунитет. Никаких проблем потом у меня не было. Видно, поэтому я в Лесной школе проучилась лет пять. Тогда, если реакция Пирке была положительная, было очень строго. Нас очень хорошо кормили. Золотая школа, какие там были учителя, и если я знаю народные песни и все латышское, то это оттуда. Теперь я понимаю. Была там жена священника господжа Вилманис, у которой детей тоже привезли оттуда, Видвудс Эглитис преподавал рисование. И, вероятно, благодаря всему этому я и выжила. Следили за мной все, чтобы я ела.

А от мамы весточки получали? Только когда началась навигация. А до того она не знала, приехали мы или нет, не арестовали ли сестру. Только с первой навигацией стали приходить письма. Осенью 1947 года мама сама сбежала. Гайдзилуне в Томске купила ей билет, посадила в поезд, и мама счастливо доехала. Я жила в деревне у тети. Люди были хорошие. Я всегда была среди хороших людей. И относились ко мне, как к собственному ребенку. Когда отец руководил молочным заводом, они жили в Валкском районе, в Карки, и я была у нее. Мама туда и приехала. В 1947 году меня ли латвийские паспорта на русские. Договорились со знакомыми, что они помогут маме выписать паспорт. Заплатили, кажется, 2000 рублей, и тот же человек, который взял эти деньги, ее и выдал. Сказал, что нет бланков, и велел ей идти в Эргеми, за 27 километров. А когда она пришла туда, ее арестовали. Я тогда училась в 3-м классе, в Карки. Помню, как мы прощались. Она пошла в Эргеми, я в Карки. За спиной у меня садилось солнце, и когда я пришла в школу, начала рыдать, не могла остановиться. Никак меня не могли успокоить. Утром, когда проснулась, узнала, что ночью был обыск, что маму арестовали. Все навозные кучи штыками проткнули, что искали, не знаю, но и в хлеву, и на улице искали. Что-то ужасное искали... Привезли меня в Ригу. Мама была в тюрьме. Ей велели подписать бумагу, что она сотрудничала с лесными братьями. А до этого убили парторга, мама якобы с



*Бригита с мамой Эммой в Латвии*

ними сотрудничала и участвовала в убийстве. Бумагу подписывать мама отказалась. Сутками ее держали в помещении, где была овчарка без намордника. Мама сказала: «Мне все равно, что будет, но бумагу я не подпишу!». Мама родилась в 1901 году. Следовательно была молодой, и мама сказала: «Сынок, ты же заешь, что все это ложь, то, что ты меня заставляешь делать!». Он глаза на маму не мог поднять. Мама подписалась, что она никуда не уедет, и ее отпустили. Прожила она здесь месяца два. Видно, ее искали. Помню, она сказала, что поедет в Валку, послала меня посмотреть, нет ли кого на улице. Я, глупое дитя, вышла, а когда вернулась, мамы уже не было. Она вышла через вторую дверь. Видно, боялась, что я расплачусь, а когда я выбежала, мама была уже далеко. Я знала, что поезд из Валки пройдет мимо, побежала на лужок, видела, как мама уезжала... Было это в 1948 году. Потом я ее встретила уже в 1954 году. Когда она уехала, ее арестовали, уже на улице Сарканармияс, где жила тетя и бабушка, которая болела и никуда не выходила. Мама хотела выйти через черный ход, но ее взяли. Когда я проснулась, окно было открыто. И в Валке маму искали. До мая ее продержали в пересыльной тюрьме. А со мной была такая история. Я была в школе. Прозвенел звонок, учительница долго не приходила. Ребят в классе было мало. Потом зашел классный воспитатель, велел мне собрать портфель и выйти в коридор. Завел меня в гардероб и говорит: «А теперь быстро в окно, через лес, но не ходи по улице Бривибас, домой иди вдоль железной дороги. Здесь тебя ждут в учительской». Со слезами я пришла к бабушке. Но и сюда за мной приходили. Маму держали до тех пор, пока искали детей. Меня отвели в Пурвциемс, на улицу Стопиню, к маминной двоюродной сестре. Сестра уехала в Талсы. Держали маму, держали, детей не нашли, и отправили маму обратно, без приговора суда, просто так. Этап в Каргасок собрать не смогли, и маму отправили в Красноярск, в село Тасеево. Там было в десять раз лучше, земля плодородная. Меня удочерила тетя. Мама прислала бумагу, что отказывается от меня. И исчезла моя фамилия. Такой был порядок, а маму еще долго вызывали и говорили, что дети жалуются, что вы им не пишете. Нас так и не нашли. Сестра на всякий случай приготовила вещи, чтобы взять с собой. А потом сестра вышла замуж, и все затихло, а меня удочерили. Я страдала, оттого что у меня в графе «отец» стоял прочерк. Директор сидит и говорит: «Это вам чести не делает!» Тетя меня успокаивает, ты, ведь, говорит, все понимаешь. Я понимала больше, чем надо, я знала, что у меня есть отец. Но если ты не знаешь, где

могила... Я перестала ждать в 1998 году. Подумала вдруг – вот уже и 100 лет. Они все время требовали от матери свидетельство о его смерти, потому что в бумагах было сказано – убыл по месту жительства. В следующий раз написали, что отец остался жить в Новосибирске. Такие приходили бумажки. Мама, конечно, знала, что никто ее не освободит. Один даже сказал ей: «Может, он в Китай сбежал!» Там почти рядом был Барнаул. Позже я встретила с одним, он рассказал, какое это было освобождение. Дают тебе хлеба на два дня, человек тут же за воротами его съедает и остается сидеть возле ворот. Вот так.

30 лет я проработала в Инфекционной больнице, пациентами моими были и чекисты, я с ними разговаривала, и один мне сказал – возможно, его активировали в лагере. Потом написали бумагу об освобождении. Но конкретных сведений нет. В 1967 году мы решили добиться реабилитации мамы. Она приехала, когда ей исполнилось 55 лет. Не имела права даже на половину пенсии. Проработала она 20 лет, на пенсию вышла в 75 лет, с наработанным стажем. А те годы не засчитывались. Переписка о реабилитации тянулась три года. То отказывали, то требовали, чтобы заявление было отпечатано на машинке. Добились мы реабилитации отца. А к маме даже домой пришли, пожали ей руку, поздравили – вы теперь такая же гражданка, как все мы. И нам с сестрой прислали бумажки о реабилитации. Я потом много рассказов выслушала о лагерях. Мама не ходила, не бегала, она была из людей твердой породы. Спасибо тому чекисту, который расстелил на полу простыню. Там было много вещей на обмен – папины костюмы, пальто, все меняли на корзинки, ведерки с картошкой. Помню, обменяли мамино пальто с меховым воротником на восемь ведер картошки, а русские женщины бегали по селу, искали самое маленькое ведерко! И эти восемь ведер уместились в одном мешке. У мамы был сильный характер. У нее была корзиночка – складывала туда на один день. Больше не давала. Жили впроголодь, помню, сестра в школу ходила с расстройством желудка. Мама была – кожа да кости. А все это потому, вероятно, что мама была из небогатой семьи. Отец был стрелком, мама работала в редакции газеты «Яунайс Вардс», был конкурс среди 14-летних детей, она победила – у нее оказался самый красивый почерк. Сидела в редакции, работала, писала адреса. Она хорошо знала русский язык.

Я вышла замуж, когда мне исполнилось 20 лет.

Мы многое вспоминаем, когда собираемся. Много я рассказывала своей дочери.

# ЗИГРИДА ГОБА (ЗЕМНИЕЦЕ)

родилась в 1928 году



Я Зигрида Гоба, теперь Земниеце. Иду сегодня по улице, жара страшная, и вспомнила я – 14 июня тоже был жаркий день, вагон до 16 июня простоял на станции Шкиротава, освещенный солнцем. Мы на нарах, двери задвинуты. 16 июня моей мамочке исполнилось 40 лет. Поезд дернулся и пошел. 13 июня мы с отцом еще обсуждали, что подарить маме на юбилей. С семьями было семеро мужчин, в том числе наш отец. В Каргасоке высадили, невольничий рынок, это я только сейчас поняла. А поскольку с нами был отец, мы попали в один из лучших колхозов. В те времена за несколько колосьев давали пять лет. Среди нас был много евреев, торговец Картин, одноногий, он был в нашем колхозе, мать с двумя сыновьями, торговцы кожами. Все семьи, где были мужчины и взрослые сыновья, попали в наш колхоз. Местные были высланы с Алтая в 1932 году. Они говорили: «Ну, вам хорошо, когда мы приехали, ничего не было». Их привезли в необжитую тайгу.

Как мама заботилась? Ну как она могла заботиться? Сразу же надо было идти грузить лес на баржу. Дети днем оставались одни. Я ходила в лес, собирала ягоды, грибы. В первый год нам давали хлеб – по 200 граммов иждивенцам и работающим. Тогда отыскались умники, которые стали говорить, что надо вступать в колхоз, тогда заработанное будут давать продуктами.

Сестра заболела воспалением легких, осенью спали на полу. Русская, у которой было и у самой двое детей, говорила: «Ты моли Бога, чтоб она умерла, самой легче будет». Мама так плакала. С того дня 12-летняя девочка молилась Богу, чтобы сестренка выжила. (Слезы на глазах.) По-всякому было. Отец на-

шел на дороге мешочек с зерном, спрятал в матрац. Местным показывать было нельзя. Гончар, у которого мы жили, дал дам большой глиняный горшок, туда клали лебеду и грибы, ставили в русскую печь, в обед доставали – пахло, как корм, что мы давали свиньям. В том году было много подосиновиков.

Как вы восприняли 14 июня? Это было страшное потрясение. В Шкиротаве я попросилась наверх, к окошку. Увидела кромку леса и женщину на велосипеде. Сердце защемило – люди на свободе, а нам надо сидеть тут, так тяжело, этого не рассказать. И это неведение. Хотелось уже доехать, но что мы окажемся в таких жутких условиях... Между собой обсуждали, какой Сталину приговор вынести. Мы бы его привязали голого к дереву, его за пару дней комары бы изгрызли, ужасные комары и мошка, от которых не спастись. Мазались дегтем.

О 1946-м? Это было удивительно, как говорят русские, сработало «сарафанное радио». Мы втроем – мама, сестренка и я – пошли в районный центр. Оказалось, латыши знают, что в Васюган приехала Вероника Валтере, за родственником Агрисом. Вернется, дождутся парохода и уедут. Все собрались в Каргасоке. У нас осталась не выкопанная картошка. Помню, в октябре дважды шагала из районного центра 40 километров, чтобы выкопать картошку. День туда, день обратно, день копала, сколько могла, поле с километр, два ведра могла отнести, раз пять по два ведра носила. И с бьющимся сердцем обратно, ведь за три дня многое могло произойти, так я два раза ходила. Трагичное было в том, что меня вычеркнули из списка, потому что родившихся до 1931 года не отпускали. Помогли

*Я ходила в лес,  
собирала ягоды,  
грибы. В первый год  
нам давали хлеб –  
по 200 граммов  
иждивенцам и  
работающим.*

друзья, договорились с матерью одного матроса, что за 500 рублей ее сын отвезет меня. А это был последний рейс. Завел он меня в каюту и говорит второму: «Это моя подруга, я останусь, капитан разрешил». Приставал, конечно, но я так молила Бога... Через пару дней другой моряк привел еще двух девушек, и меня оставили в покое. Я не призналась, кто я, на местном наречии я уже говорила так хорошо, что даже сказку сочинила – я, мол, местная, сбежала от мачехи.

Он решил, раз у того «подруга», будет «подруга» и у него. А одна из них была уголовница. Прямо у меня на глазах вытащила из моего кармана деньги и пригрозила – крикнешь, горло перережу. Что я могла? Переживаний было много.

В распределительном пункте заболели мы скарлатиной. Маме писала от имени русской девочки – встретила Зигриду. Все закончилось благополучно, 5 декабря выехали из Томска.

Когда встретили сестренку? Она первая заболела скарлатиной, потом Марите Калниня. Они были в изоляторе, я за ними ухаживала, аппетит был волчий, съедала все, что ей приносили, потому что у нее аппетита не было. Когда карантин заканчивался, я заболела и сестра Марите тоже. Нас положили в больницу, маленьких уже отправили в санаторий. Встретились, когда за нами на санях приехали из детского дома. Нас закутали, посадили, мы спрашиваем, где же сестрички, и вдруг из саней писк: «Мы здесь!»

Один мальчик у нас исчез. Переживала я этот случай вплоть до времен Атмоды. Его отдали русским, в семью священника. Латыши знали об этом, снарядили госпожу Валтере, чтобы она привезла мальчика. Он заболел одним из последних. Фамилия его была Шмудерс, и мальчика этого не нашли. Так мы и уехали. А теперь я узнала, что они все-таки этого мальчика отыскивали.



*Зигрида с бабушкой*

# ВЕНТА ГРАВИТЕ (ЛИЦЕ)

родилась в 1938 году



В Сибирь нас вывезли из Ливаны, где мама работала учительницей. Отец домой не приехал. Мама поехала его искать, отец сказал, что мы у его брата в Алуксне. Мама поехала в Даугавпилс, на квартиру, где жил отец, и сосед сказал, что отца арестовали. Маму арестовали тоже. Она сказала, что дети в Ливаны. За нами приехали на грузовике. Велели маме быстро собрать вещи и повезли нас в Даугавпилс, где стояли эшелоны.

Пока мама была в Даугавпилсе, за нянюку с нами сидела бабушкина сестра. Когда мама собирала вещи, бабушка просила, чтобы оставили хотя бы меня. Но мама сказала: “Нет, мы все будем вместе”. Мама надеялась, что встретимся с папой, но это никогда не исполнилось. И начался наш путь. Люди рассказывали, что мама все время спрашивала, где она встретит своего мужа. И перед тем, как нас увезти, ей сказали: “Поезжайте, только там вы мужа своего и встретите”. И мама вместе с нами и другими латышами плыла по Енисею. Высадили нас в Агапитово. Было 17 сентября, приближалась зима... Там еще были финны и немцы из Казахстана. Там ничего не было, только постройка, в которой когда-то жили заключенные. Через неделю привезли лопаты, пилы, топоры, армейские палатки, и люди принялись в этих палатках устраиваться жить. Работа была такая – вытаскивать на берег плавучие по Енисею бревна, и из этих бревен стали строить землянки. Мама промочила ноги, потому что подходящей обуви не было. Она была небольшого роста. Как мне рассказывали, на ногах у нее были так называемые бурки. Ноги мокрые, мама заболела, и 10 октября она умерла...

Люди сколотили ящик, в котором ее и похоронили. С этого и началось в Агапитово кладбище. Потом тех, кто

умирал зимой, складывали в опустевшие землянки. Там они лежали до весны, когда можно уже было вырыть яму. И хоронили этих людей в общей яме. Нас, детей, оставшихся без родителей, собрали в один барак и жили мы там, пока люди не ушли в другое место – по льду они сумели добраться до противоположного берега Енисея, и детей сдали в детский дом. Я жила вместе с другими девочками, спала в одной кроватке с девочкой, которую звали Дуня. Брат жил с мальчиками. Дети были разные, некоторые и старше шестнадцати. Помню елку в детском доме. Пробыла я там недолго, нашлась бездетная семья, они меня взяли к себе, и пробыла я у них два года. В 1946 году они уехали в Москву, там у них была однокомнатная квартирка в подвале. А в Латвии наши дедушка, бабушка, бабушкина сестра, крестная моя искали нас. Крестная брала у каждого, кому приходило письмо из Сибири, адрес и писала этому человеку. Во всех письмах был один вопрос: не встречали ли они Олгу Гравите с двумя маленькими детьми – Илмарсом и Вентой. И вот получила она письмо от одной женщины, которая писала, что сама она не видела, но слышала о женщине с трехлетней девочкой и пятилетним мальчиком, которых после смерти матери поместили в детский дом в Игарке. Потом тетя написала директору детского дома, который ответил, что мальчик в детском доме, а девочку отдали в семью. Брат писать не умел, но одна девочка, финка, постарше брата, написала дедушке письмо. Рассказывала о жизни в детском доме. Написала, что мои приемные родители

уехали в Москву, а брат эшелонам возвращается в Латвию вместе с детьми, которые остались сиротами. Тетя встретила эшелон и забрала к себе брата. А крестная поехала в Москву и отыскала меня. Приемные родители

*Люди сколотили ящик, в котором ее и похоронили. С этого и началось в Агапитово кладбище. Потом тех, кто умирал зимой, складывали в опустевшие землянки...*



не хотели меня отдавать. Переговоры были долгими, и они согласились после того, как крестная обещала им вернуть средства, потраченные на мое воспитание. Но что они могли предложить? Кольцо, янтарные бусы, папина старшая сестра, у которой жил брат, предложила радио, деньги. Деньги надо было занимать. Когда обо всем этом узнал мой дядя, живший в Москве, он подал в суд. Суд признал, что взяли они меня на воспитание добровольно, ничего им за это не полагается, и девочку следует вернуть родителям в Латвию. Чтобы меня не отобрали, мы поехали кружным путем – через Смоленск, Даугавпилс, Ливаны. Приехала я в Ливаны, ни одного латышского слова не знаю, разговариваю только по-русски. Вначале ко мне домой приходила учительница, мне было уже восемь лет, пора в школу. Отправили меня в латышскую школу, был уже ноябрь. Привели меня в класс, а я не понимала, что делают ребята. Школа была для меня чужим местом. Но все со временем образовалось, учиться я продолжала в Ливаны.

Когда крестная была в Москве, они с московской тетей договорились, что те переберутся в Ригу, чтобы мы с братом могли быть вместе, учиться в Риге, а летом жить у бабушки в Ливаны. По неизвестной мне причине московские дядя и тетя в Ригу не переехали, брат продолжал учиться в Москве, я в Ливаны.

Встречались мы с Илмаром летом. Вначале тетя приезжала с ним каждое лето, и мы до конца августа жили вместе у бабушки. Неподалеку жила и бабушкина сестра, и в этих двух домах мы проводили свое свободное время. Потом переписывались, посылали друг другу открытки. Так продолжалось все время. Учиться после школы я уехала в Ригу, поступила на биологический факультет.

Илмарс пошел служить, и встретились мы уже, когда он вернулся из армии. Четыре года он служил на Севере. В Латвию он приезжал часто, в отпуск, когда пошел работать. Я еще студенткой вышла замуж и жила у родителей мужа в Мурьяни. Отпуск с мужем и детьми проводили у крестной в Ливаны. Когда он приезжал вместе с тетей, мы ездили в Алуксне, на ее родину, откуда родом была и мама, – в «Платпири» Алсвикской волости. Ездили и к другой сестре в Кулдигу, в окрестности Скривери. Я уже была замужем, и мы повезли тетю, бабушкину сестру, показать ей Москву. В следующий раз ездили, когда дочке исполнилось шесть лет. Потом поехали в Новосибирск. Неделю туда, неделю обратно, останавливались в Москве. Брат тоже женился, и у него была дочка. Когда

дядя и тетя умерли, я еще дважды возила учеников в Москву. В последние годы там не бывала, приезжал к нам брат. Когда он сейчас приезжал, были в Ливаны, там на кладбище похоронены дедушка, бабушка, бабушкина сестра, моя крестная, родня бабушки. В Алуксне тоже похоронены родственники. От дома «Платпири» ничего не осталось, все заросло кустарником, только на горе растет еще липа, да под горой сохранился погреб. Посмотрели и поехали ко мне в Инчукалнс.

Брат неважно говорит по-латышски. Тетя с ним не разговаривала. Тетя считала, что русский язык везде может пригодиться, а латышский – в одном месте. И хотя моя крестная посылала ему латышские учебники, в латышском языке тогда необходимости не было. Понимать он понимает, а свободно не говорит.

Не могли бы вернуться в 1947-й, 1948 год – как вы воспринимали окружающее, о чем думали ребенком? Когда я вернулась в Латвию, крестная работала школьным инспектором Даугавпилсского района. Дома она бывала по субботам и воскресеньям. Я жила у бабушкиной сестры, и мы за неделю должны были выучить песню, народную песню, и когда приезжала крестная, ей показать. Бабушкина сестра мне много рассказывала о прошлых временах, о моей маме, она была у нас нянькой. Она лучше всех знала мою маму, говорила, какая мама была строгая. Рано поднимала нас, днем не разрешала валяться в постели. Мне хотелось узнать о маме больше, я старалась быть на нее похожей. В какой-то степени именно поэтому я выбрала биологию. А может быть, еще и потому, что у бабушки был яблоневый сад, хозяйство. Была корова, овцы, свинья, лошадь. Надо было пасти, каждый пас в свой день. Остальное время я проводила среди цветов, возле яблонь.

Свою судьбу знала, понимала, что те люди, которые меня забрали, не настоящие мои родители. И когда меня привезли в Латвию, я знала, что это моя настоящая бабушка, настоящий дедушка, и я их приняла, хотя за минувшие годы успела их забыть. Дедушка и бабушка умерли в 1953 году с разницей в несколько месяцев, а бабушкина сестра умерла в 1977 году, я с ней делилась, спрашивала совета.

Говорили ли с братом о родителях? Когда были подростками, кажется, даже и не говорили. Задумались всерьез гораздо позднее, анализировали прошлое. Брат хотел вернуться в Латвию, крестная не раз его звала, дядя даже написал письмо, чтоб она не смущала парня, что он должен вернуться в Москву,

и он вернулся в Москву. Так наша жизнь и текла, моя в Латвии, его – в Москве.

Ни папу, ни маму я не помню, есть только фотографии. Первый альбом подарил мне брат. Там была фотография и московской тети. Фотографии были в подаренном мне альбоме. Есть фотографии, где мама с папой, мы с братом, где мы все вместе. Сейчас брат приехал и привез три альбома, там вся родня – мама, тетя, мы стараемся всех узнать, все фотографии подписать, чтобы дети наши знали, что это за люди. У меня дочь и сын. У дочери двое детей.

Повлияло ли на вас то, что вы жили без родителей? Как вы себя чувствовали у родственников? Когда я жила у крестной, дом бабушки и бабушки был рядом, мы были как одна семья. Я чувствовала себя там прекрасно. Когда бабушка с бабушкой умерли, я осталась с крестной, и бабушкина сестра перешла жить к нам. Моя крестная была человеком доброй, широкой души. Никогда она меня не ругала, всегда выслушает. Никаких упреков, а если даст совет, то это совет, а не команда. У меня всегда был выбор. С родными отношения у меня были очень сердечными.

С мужем мы познакомились, когда я была студенткой, была я на практике в группе с ботаниками, вместе были на Севере, в горах. Там я и «пригляде-

ла» себе мужа. Его родители приняли меня, с ними я и жила. Если уж со свекровью я прожила вместе 25 лет, думаю, отношения плохими не были! Сейчас живу в Инчукалнсе, муж мой умер. Дети бывают у меня каждый день, внуки у меня. Дочь живет в Сигулде, дети учатся в Инчукалнсе.

Хотела я съездить в Агапитово. Написала я однажды Леопольду Барановскому, он жил в Игарке, и я у него спросила, не знает ли он, где могила моей матери. Он ответил, что иногда там бывает, но место, где похоронена мама, не знает. Я хотела бы туда поехать, но одна побаиваюсь. Если бы собралась группа, обязательно бы поехала.

О смерти отца бабушка с бабушкой узнали от бабушкиного коллеги, железнодорожника. Один из его товарищей написал тому из Вятлага. Тогда крестная от бабушкиного имени написала письмо, потому что дед писать не умел. Человек этот – Петерис Далкстс – ответил бабушке, что он работал вместе с моим отцом. Отец заболел и 10 мая 1942 года умер. В другом письме он написал: «Если будете искать могилу Албертса, вы ее не найдете». Проводить умерших не разрешалось, хоронили по ночам, и в могилу вбивали кол с номером, чтобы знать, кто похоронен.



*Вента в Игарке. Сибирь*



# ИЛМАРС ГРАВИТИС

родился в 1936 году

Мама очень любила отца. Поэтому их выслали. Отца вызывали в НКВД и в четвертый раз арестовали. Мама его искала. Она в Ливаны работала в школе, отец был почтовым агентом. Он никому не доверял секретную почту.

Мама искала отца и сказала, где искать нас, детей. И ночью нас арестовали. Дали час, чтобы собраться. Квартиру опечатали. В шесть вечера приехали бабушка с дедушкой, квартира была взломана и разграблена.

16 июня начался наш путь в поезде из Даугавпилса. Привезли нас в Красноярскую область, а там в селе был сарай с иностранной литературой, я туда забирался. Меня поймали. Дома там были под соломенными крышами. Солому эту скармливали скоту. Коровы были такие тощие, что их подвязывали веревкой, чтобы они не падали.

Мама собирала колосья, чтобы мы могли выжить, потом нас отвезли в Красноярск. До начала навигации жили мы там в ящиках. Были там литовцы, эстонцы, люди других национальностей. 500 человек на пароходе отвезли на остров, в Агапитово и разместили в палатках. Одному из семьи надо было дежурить у костра, чтобы он не погас. Мама умерла вторая.

Я попал в группу, которую набрала Велта Лице. Оказался в детском доме. Был там с зимы 1943-го до зимы 1946 года. Сестру взял летчик Брунов. Если ребенка брали из детского дома, жена могла не работать. Бруновы потребовали уплатить им за все, что сестра съела и износила. Был судебный процесс, и нам ее отдали. Сестру привезли в Латвию и отправили в латышскую школу, хотя латышского

языка она не знала, так как вывезли ее, когда ей было два года и девять месяцев.

Меня высадили в Москве, так как там работал мой приемный отец. Он был латгалец. После армии я хотел поехать жить к тете Оле, но он прислал жалобное письмо – мы тебя воспитывали, не покидай нас. Поступок эгоистичный.

Агапитово – остров у крутого берега Енисея. За рекой было село. Того, кто пытался попасть в село, ждал карцер.

Говорят, что там, где хоронили первых умерших, в 1943 году построили барак. Бесчеловечно. Память должна остаться. Мама умерла от тифа. Мы с сестрой тоже переболели. Мама отдавала нам все, а сама ушла из жизни.

Отец был в Вятских лагерях. Ночью его допрашивали, днем отправляли на работы. Причина смерти – кровотечение из прямой кишки. Был он здоровый человек. Он не назвал ни одной фамилии, он был айзсаргом.

В 1946 году я пошел в школу в Москве. Потом в армию, и снова оказался в Сибири.

У меня два высших образования. В семье честные коммунисты высокой пробы.

В 1951 году, чтобы скрыть свое происхождение, я изменил фамилию на Сницерев.

С сестрой видимся, есть двоюродная сестра, которая живет в Лиелварде, есть двоюродные братья. А вот денег, чтобы приехать в родные места, нет.

Завел хозяйство на берегу речки Эры в России.

Сам сажаю, помощников не зову.

Жена и две дочери живут в Москве. Двоюродный брат сказал, что моих детей здесь, в Латвии, не примут.

*Мама умерла от тифа. Мы с сестрой тоже переболели. Мама отдавала нам все, а сама ушла из жизни.*

# РУТА ГРАШИНЯ

родилась в 1940 году



Мой дед был очень образованным человеком, имел высшее образование, учился в Великих Луках, затем в Политехническом институте в Риге. В Крапеской волости у него был дом. Вся семья у них была образованная. В 1905 году он вместе с женой и дочкой Мирдзой уехал работать в Читу, так как в Латвии работы для него не было. Ему предлагали Петроград, Читу, еще что-то, но он выбрал Читу. Жил он там до 1920 года. Там у него родились еще сын и дочь. В 1920 году он вместе с семьей через Владивосток решил вернуться в Латвию. Они плыли морем, через Суэцкий канал, вокруг света. Через три месяца были в Риге. Когда он вернулся, его сельский дом был разрушен. Умерла его мама, которая так и не дождалась сына и его семью. Сегодня, например, он приехал, а мама умерла вчера. Он стал строить дом, искал работу в Риге – надо было растить детей. У него их было трое – Мирдза, Расма и Карлис. Сначала работал в строительной отрасли, затем на железной дороге. Знаю, что дорога от Скriverи до Мадлиены построена по его проекту. Недалеко находился его дом. Потом он работал в министерстве, работал долго и хорошо. Он был государственный контролер. И тут наступил 1941 год. Всем известно, как все происходило. Мы жили с мамой и папой на улице Калнциема, 12. Нас у мамы было двое – я и Юритис. Вывезли нас оттуда в двенадцать часов. Мужчин увели в одну сторону. Женщин и детей – в другую. Женщинам сказали, что, когда они приедут на место, мужчины уже будут их ждать. Все теперь знают, что этого не случилось. Нас увезли в Томскую область, плыли по Васюгану, потом по ее притоку Нурольке, и оказались почти у самого ее истока, в селе Волчиха. Там было несколько ла-

чуг, там уже жили сосланные в 1937 году – русские, украинцы, немцы. Вначале жить было негде, потом пустила нас к себе одна семья. У них было пятеро детей. И они еще приняли мою маму с двумя детьми. Мне было всего девять месяцев. В поезде кормить меня было нечем, только хлеб и вода. И все-таки мы доехали и жили вместе с этой семьей, в которой было семь человек. Тут же жил и родившийся зимой теленок, овца и мы. Все дети спали на печи, было тепло. А маме, конечно, было трудно. Она потеряла мужа, нашего отца. Я сильно болела, почти не ходила. Соседи говорили – лучше бы ей умереть... Но мама сказала: «Нет! Как же я смогу приехать в Латвию без дочери!» А братик приговаривал: «Она у нас самая красивая девочка...». Так он говорил... Летом он утонул, ему было шесть лет... И остались мы с мамой вдвоем. Все остальные пропали...

У мамы было преимущество – она жила в Чите, знала русский язык, у нее было университетское образование – факультет философии. Ей, конечно, было чуть легче – она могла с людьми разговаривать. Но физически ей было тяжело – болели косточки на руках, они почти исчезли, от холода стали гнить. Мама любила играть на пианино, но когда вернулась в Ригу, играть ей было уже трудно. Работа у нее была разная. Я часто просила есть. Трудно было повсюду бегать босиком, каждое лето я хромала, это я помню. Трудно собирать мерзлую картошку. Комары, гнус – это было очень тяжело. Крапива жалилась. Но если бы не крапива, нас,

может быть, и в живых не было бы, крапива спасала. Крапивы в селе всем не хватало, даже поделили территорию – под мостом вы собираете, дальше – другая семья. Все село было так поделено.

*Я сильно болела, почти не ходила. Соседи говорили – лучше бы ей умереть... Но мама сказала: «Нет!»*



*Рута в Латвии*

Помню, было мне пять лет, вставать надо было в пять утра и идти нянчить годовалого малыша. Трудно было встать, но я ходила, потому что у них в печи был суп, давали мне и кусочек хлеба. Помню, весь день смотрела я на печь, где стоял суп, и ждала, когда придет хозяйка и нальет мне в тарелку. Сама я взять не могла – в печи горячо, и делать это мне запрещали. Летом тоже было трудно. В это время мы с мамой жили километрах в пяти от села, уезжали на большой лодке – я все время вычерпывала воду. Там росла картошка, надо было вырастить ее, уберечь от скота и от людей. Все лето стерегли. Мне было шесть лет, и мама оставила меня стеречь, а сама поехала за реку собирать ягоды. Ждала я, ждала, уже темно, а я все жду и жду. А когда она вернулась, рассказала, что наткнулась на медведя. Растерялась – корзинку не добрала и вдруг – медведь. Я потом очень переживала, когда мама куда-то уходила, говорила: «Мамочка, не ходи, тебя медведь съест!». Но она уходила...

Дел у меня было много – вязать веники, собирать гнилую картошку, крапиву, ходить по ягоды, много всяких дел. Как я была счастлива, когда узнала, что такое белый хлеб и масло! Впервые ела, когда заболела, поднялась высокая температура. Радовалась, когда тетя – Анна Трапане – пригласила нас с мамой попробовать мясо бурундука. Первый раз попробовала мясо, узнала, что это такое. У тети был сын, но образования у него не было. Мама уже начала работать учительницей и помогла ему окончить школу. Он получил документы и поехал

в Томск, а потом в Москву. А до этого он построил нам с мамой домик – ах, какая это была радость, свой дом у самого леса! Домик маленький, но там у меня была собственная кровать... Я тогда уже училась в 4-м классе. Первый раз был у нас свой столик, за которым я училась. В комнате была чистота. Я даже белье стирала. Я слышала, что стирать белье надо золой, тогда оно будет чистое. Я сложила все, посыпала золой. Представляете, что получилось... Мама меня не ругала, знала, что я хотела ей помочь. Не ругала она меня и тогда, когда я решила сварить клецки. Был у нас черничный кисель, а я слышала, что клецки надо варить, пока они не почернеют. Разрезала – внутри белое, разрезала еще раз – снова белое... В конце концов получилась у меня каша. Ничего, съели... Однажды, помню, мама меня отругала. Я еще не ходила в школу, купила самую дорогую крупу – я же не знала, что почем. Это была манка. Тут уж она ругалась, а я плакала. Стало ей меня жалко, и она мне из картошки и соломы сделала солнышко и подвесила к потолку: «Смотри, Рутыня!». В домике солнца было мало, и когда появилось еще одно, стало веселее.

Маме посчастливилось получить в школе место учительницы. А получилось так – она работала уборщицей в школе-интернате, где жили разные... Однажды приезжает начальство. К его приезду надо было везде почистить, все вымыть, чтобы блестело. Она всю ночь скоблила полы добела, не мочила, а скоблила. Утром она выглядела жутко. Начальник спросил, что это за женщина – такая страшная. Она рассказала о себе, откуда она, какое у нее образование, что она может преподавать немецкий язык. Он сказал, что нужна учительница, и пусть мама работает. И началась у нас, можно сказать, хорошая жизнь. Мама стала получать деньги, я начала учиться.

Когда я была маленькая, мама все время говорила мне: мы поедem в Ригу, поедem в Латвию. Я никак не могла понять, спросила – почему один раз ты говоришь – в Ригу, другой раз – в Латвию? Что такое «Рига»? И мама стала мне рассказывать. И я ждала – когда же поедem, когда же... В 1956 году, когда ее отпустили, стали мы собираться. В 1957 году впервые мы приехали в Ригу. Приехали, а родных нет, никто не ждет, есть только знакомые. В первый год мама работу не искала, только потом стала искать. Как только узнавали, что она была выслана, сразу же говорили: «Извините, к сожалению, мест нет!». Мама возвращалась, плакала, она уже понимала, откуда это «к сожалению»... Она знала,

что место есть, ведь ее посылали по конкретному адресу. Она даже хотела оставить меня у какой-то тетюшки и уехать обратно в Сибирь, там у нее была работа. Но оставлять меня ей было жалко – все-таки двенадцать лет мне было. Мы единственные остались из всей семьи... И мы вдвоем уехали в Сибирь. Там я училась в педагогическом институте. Работала учительницей, вышла замуж. У меня трое детей – Юрис, Лиените и Андрис. У всех высшее образование. Пока они живут в Томске. Мы с мужем Колей живем здесь, переехали в Ригу, у нас здесь комнатка, только на двоих. Комнату мы с мамой, когда переехали в Ригу, купили. Но вернуться не пришлось. Квартирка осталась. Все говорили: зачем держите, надо продавать! Но мы сказали, что не продадим. Мама все время надеялась, что мы вернемся. Но не дождалась. Она бы порадовалась, узнав, что мы с мужем живем здесь. Может быть, когда-нибудь придут дети, пока приезжают только в гости, живут по три месяца. Младший говорит по-латышски, старшие хуже. Если бы жили здесь, постепенно научились бы. Очень хочу, чтобы сыновья приехали. Дочка замужем, она-то вряд ли придет. А сыновья – очень хочу, чтобы они жили в Латвии. Как будет, жизнь покажет.

Карлис Пиегазе – это ваш дед? Да, это дедушка. Он хорошо работал, и когда всех увольняли, Карлис Улманис написал ему благодарственное письмо. Я читала архивные документы – интересовалась, почему деда выслали. Он был очень хороший сотрудник в Госконтроле, за работу был награжден орденом Трех звезд и еще каким-то орденом. Потому и выслали, что умный был и хорошо работал.

Отец был юристом, учился на последнем курсе в Латвийском университете, было у него двое детей – я и Юритис. Он работал в отделе страхования в полиции. Вывезли нас в двенадцать ночи. Взяли нас всех вместе. А потом сказали, что мужчины поедут первыми. От волнения папа взял чемодан с детскими вещами, а мама взяла его вещи. Был в чемодане и папин халат, пригодился, мама потом его долго носила.

Зимы были холодные. Картошки в селе не было – всю съели, все очистки. Люди стали есть крыс, положишь на стол, а другая крыса ее утащит, человек оставался ни с чем. Соседнее село находилось в 30 километрах, и мама в резиновых сапогах ходила туда. Обменяла этот халат на картошку. Пока картошку привезла, она замерзла, стучала, как камни... Привезла одно или два ведра, не больше...

Отца отправили на последнюю в Кировской области станцию, дальше поезд не ходил, – станция Лесная. О судьбе отца я узнала только в 1984 году. Мама умерла, так и не узнав, что случилось с отцом. Узнала я из списка, который был опубликован в газете «Литература ун Максла» – врач, который был в лагерях, составил список всех умерших. Записывал на бумажках от сигарет. В газете рассказывалось, как они там «жили»... Не могла читать без слез. В списке нашла и отца – Эдуард Грашиньш умер осенью. Летом привезли, а осенью умер. Дедушка умер в Усольяге. Его повезли в другую сторону. Мы с мамой об этом знали. О судьбе деда я узнала в 1985 году – когда, где, какова причина смерти. В Сибири остались папа, дедушка, братик, а теперь вот и мама в Омской области.

О многом еще можно рассказывать. Думала, детям рассказывала – если бы не крапива, нас в живых бы не было... Разбогатею, поставлю памятник крапиве. Есть ведь памятники собакам, огурцам... Крапиве обязательно надо поставить памятник – она спасла сотни, тысячи человек, хорошая трава крапива... Трудно было. Всякое было.

А сейчас – что сейчас? Жить можно! Сейчас только воспоминания. Думаю, была бы я писательницей, записала бы все, что мама рассказывала, что я помню. Помню я многое. Когда я была ребенком, думала, что так, как живем мы, живут и остальные, а мама, взрослые – вот им было трудно.

Помню, как в 1949 году снова стали привозить латышей, маму тогда вызвали в НКВД. Узнали, что у мамы высшее образование, и говорят ей энкавэдэшники: «Слушайте, о чем эти латыши говорят, и обо всем нам рассказывайте». Мама, конечно, отказалась. А они ей: «Если вы от этого откажетесь, мы вас вышлем еще дальше». Она им ответила: «Я все равно делать этого не стану, хуже, чем есть, сделать уже невозможно, я столько повидала и добра и зла, что хуже уже быть ничего не может!» Велели они ей написать автобиографию. Мама всю ночь писала и переписывала, чтобы ни одной ошибки не было. По-русски она писала хорошо, преподавала в Резекненской гимназии – там еще и сейчас есть фотографии. Принесла она утром свою автобиографию, прочитали они и говорят: мы вас высылаем в другое село. И поехали мы. Всем, с кем мы жили в селе, жалко было с мамой расставаться – она была умная, всем помогала, писала заявления и всякое такое. Вся деревня высыпала на высокий берег, провожала маму. Привезли нас

в другое село, но там оказалось лучше, ближе к центру. Жизнь наша стала веселее. Это было в Каргасокском районе. Земля там была хорошая. Мама работала учительницей, у нас был огород, было жилье, даже баня была, на берегу реки, с черными стенами, но радость-то какая – есть где помыться. Как мы оказались в Пудино – мама не хотела жить одна, я тоже не хотела. Мама хотела переехать в Томск. Нашла работу, стала преподавать немецкий в школе, но жить было негде. Пошла она тогда в районо и сказала: посылайте куда-нибудь, в Томске жилья не найти. Ей предложили Пудино, добраться туда можно было только самолетом. А мама подумала – на лошади ехала, на поезде тоже, на пароходе тоже, а вот самолетом не летала. Что будет, то будет. И в 1959 году мы поехали. Потом и я там работала, 33 года отработала. В той же школе работал и мой муж, в Пудино родились и дети. Сюда приехали в 2002 году, в Ригу. Сейчас я на пенсии. В школе работать не хочу, сейчас дети совсем другие. Сейчас учителям гораздо труднее. Пока мне на пенсии хорошо – после такой нелегкой жизни...

Почему вы решили вернуться в Латвию? Там условия жизни очень непростые. Попасть туда можно только самолетом. Не хотелось больше оставаться на болотах, из которых выкачивают нефть. Дети был в Томске, а там у нас квартиры не было. А тут была. Сделали ремонт, сами с мужем. И хотелось мне, чтобы дети не утратили мою Родину. До перестройки мы каждый год сюда приезжали. Дети с мамой приезжали, жили по полгода. С детьми мы здесь жили каждое лето. Сравнивали – в то время там продуктов было не достать, а здесь было все! Когда возвращалась и рассказывала, людям казалось это за границей.

Как себя чувствует здесь ваш муж? Ничего, потихоньку привыкает, первый год было труднее. Начинает понимать по-латышски. Я знаю, привыкнуть трудно. Наши знакомые уехали сюда из Пудино 20 лет назад. Спросила: «Долго привыкали?» – «Десять лет!» Латыш один, Андрис, который жил на Камчатке, сказал то же самое. Вся жизнь там прожита, там друзья. Здесь все иначе.

Таких, как я, здесь, вероятно, не много. Мне ведь было всего девять месяцев, когда выслали. Таких мало. Многие погибли уже в дороге. Ехали мы два месяца, на барже плыли, в грузовом трюме. Долго плыли по сибирским рекам. Увезли как можно дальше – на самый краешек. Сейчас из этих болот нефть выкачивают. Дорог там нет. Летом до-

браться можно на самолете. Была бы дорога, чтобы проехать 500 километров, потребовалось бы восемь часов.

Наконец начали строить там дорогу, но времени не хватило. Началась перестройка. 400 километров проложили, 100 осталось, не доделали. Так жители сейчас и мучаются. А те, чья нефть, дорогу делать не хотят. Кто-то из них сказал: «Зачем прокладывать дорогу в никуда?» Да и дорого на болотах дорога обходится. Вот они и летают, все привозят на самолетах.

Отмечала ли ваша мама Рождество? Да. И на Пасху красили яйца, пробовали даже травку выращивать, чтобы туда яички положить. Вот я думаю – что должен человек сделать, чтобы жизнь его была счастливой? Не воровать, языком не болтать, с соседями не ссориться. Добро другим делать, желать добра другим. О воровстве – думаю, самый большой грабитель государство. Первый раз украли все имущество, семью, мы потеряли все. Это было в 1941 году. Сделало это правительство – какое правительство, неважно. Второй раз в России, когда мы потеряли деньги... Мама, я, муж – все мы работали, зарабатывали, чтобы вырастить детей, а правительство ограбило всех. Издавали один закон за другим. И здесь, когда деда увезли, у нас тоже было имущество, я все записала. Дали мне за него деньги. Я положила деньги в банк, а через полгода правительство снова у меня эти деньги украло. И снова я осталась ни с чем. И второй раз у меня украли в 1992 году, когда меняли деньги. Всю жизнь мы жили не по закону, а по правилам, которые придумывало правительство. Всех грабило, пострадали все... Я считаю, что самый большой грабитель – правительство.

Я еще спросила – у деда ведь было в Риге имущество, на что мне ответили, что нет списка, нет протокола. А в архиве я нашла. Одну вещь нашла – оказывается, был он такой бедный, только радио у него и было. Так отдайте мне хоть за него деньги, я куплю детям подарок, чтобы хоть какая-то память. Символически! Не может же быть, чтобы у него ничего не было. Что ж, сидел он голенький и слушал радио?! Мне сказали, что я со своей просьбой опоздала. Я не понимаю – если у кого-то что-то взяла, украдала, я обязана отдать. А они говорят – поздно... Он же должны вернуть долг. Этого я не понимаю! Неверно это.

В 1941 году здесь уже была не Латвия, а Россия – правопреемница СССР...

# ХЕЛЕНА ГРЖИМАЛО (КОРШУНОВА)

родилась в 1924 году



Я Хелена Гржимало, теперь моя фамилия Коршунова.

Жили мы вчетвером: отец, мать и мы с сестрой. Помню время, когда мы жили возле границы – в Гольшево, которое потом переименовали в Айзгарши. Там я пошла в школу, но вначале латышской школы не было. Открылась она только через какое-то время, и я в нее перешла.

Отец был пограничник, у него была и столовая-буфет для пограничников, где работала мама. До 1940 года жили в одном доме с Гайдамовичами. У них была своя квартира, у нас своя. И у них было двое детей. Когда в 1940 году вошли русские, Гайдамовича расстреляли сразу же. Нас это как-то миновало, потому что латвийские пограничники уже никому не были нужны. Уехали в Карсаву, где жила мамина сестра с семьей. Папа устроился работать дорожным мастером.

14 июня 1941 года явилась целая толпа чужаков: надо уезжать. Мы страшно переволновались. Но нам попались еще человечные чужаки, сказали: «Берите с собой все, что у вас есть!». Все равно мы ничего не поняли, и почти все наши вещи они уложили сами. У мамы был большой сундук от приданого, его загрузили доверху, даже перину положили.

Отвезли нас в депо, где уже были арестованные. Когда добрались до предназначенного нам вагона, отца с нами уже не было. Теперь по документам видно, что его и не вели с нами, сразу арестовали и посадили в тюрьму. И поехали в Сибирь мы, три женщины – мама, сестра и я.

Приехали в Красноярск, потом увезли нас в Канск, где сидели мы неделю. Приехала за нами машина и отвез-

ла в Тасеево. Помню, над дорогой стояла страшная пыль, и приехали мы черные как мавры. На второй день стали наезжать председатели колхозов, выбирать себе рабов. С маленькими детьми не брали. Зато матерей с мальчиками, особенно школьного возраста, брали охотно. Уже началась война, и всех мужчин мобилизовали.

Мы втроем и еще несколько человек не нужны были никому до последнего дня. Потом пришла какая-то женщина и сказала: «Беру их к себе, у меня маленький ребенок, мне нужна нянька».

Стали жить в небольшой комнате, там же обитала и ее сестра. Работу мы, конечно, найти не могли. И русский язык знали плохо, потому что дома, в Латвии, говорили мы в основном по-польски, все мы поляки – и мама, и папа. Обходились тем, что продавали вещи. Зимой, конечно, было очень холодно, Сибирь все-таки – минус 50 градусов. Помню, приходилось стоять на базаре, чтобы что-нибудь продать. Что продадим, тут же проедали. На базаре было тогда полно латышей.

Весной хозяйка выделила нам пару грядок, посадили лук, морковь, пару бороздок картошки. Думали – хоть немного полегче станет.

В Тасеево получили и записку от отца – крохотный листочек: «Нахожусь там-то... Держусь...». Видно, кто-то из лагерей выбрался и привез нам эту записку. Как он нас нашел, уже и не помню. После этого от папы не было больше ни словечка, и мы не знали, что с ним. Записка долго хранилась у мамы, а потом затерялась.

Мама каждый месяц должна была отмечаться в комендатуре. Однажды вернулась оттуда и говорит: «Девочки, собирайтесь, снова нас увозят, и очень далеко». Это касалось

*Вскоре после этого  
госпожа Кродерс  
легла на свои нары,  
сложила руки на  
грудь и заснула  
вечным сном. Ее  
серые глаза не могут  
забыть до сих пор...*



и остальных латышей, которые там были. В июле собрали все, что у нас еще оставалось. Отвезли нас в Красноярск.

Долго жили на берегу, потом приказали грузиться на лихтеры. Помнится, лихтеров было всего три или четыре, а у нашего был пятнадцатый номер. Это был самый большой лихтер, на нем находилось около трех тысяч человек. Загрузились, и вскоре весь караван поплыл вниз по Енисею. Время от времени останавливались, там, где было село или небольшой городок, высаживали по несколько семей, остальных везли дальше.

Далеко ли повезут, никто из нас не знал. А условия на лихтере были такие, что хуже не бывает.

Даже естественные нужды справиться было трудно, были три или четыре будки на три тысячи человек. Только рассветет, уже стоит очередь. И своей очереди не дождешься и до вечера! Это было что-то ужасное! Мучились, особенно мы, девчонки. Потом мамы стали нас выручать – закрывали юбками. И вспоминать не хочется!

Но мы нормально уживались. Даже песни латышские пели. В одном конце лихтера песня затихнет, в другом подхватят.

Миновали Игарку, Дудинку, еще какие-то поселки. Высадили нас в Дорофеевке с целой бригадой евреев. Под открытым небом высадили, конечно. Но мы так устали, что было уже все равно, в какой ад мы попали, главное – оказаться на берегу. И ночь вот-вот наступит, и мы сразу заснули. Проснулись, глаза не открыть – песком засыпало, такой ветер. Горстями чистили, чтобы глаза открыть.

И стали мы жить в Дорофеевке. Вначале вырыли что-то вроде землянок, из чего-то смастерили крышу. Но разве можно глубоко зарыться в вечной мерзлоте? Вода текла и сверху, и снизу, но все-таки какое-то прибежище было. Потом уже из Красноярска сплывали по реке что-то похожее на домики, мы их сами должны были достроить и жить в них. Баржей доставили бревна и доски. И началось строительство. Слава Богу, оказался в Дорофеевке такой Люгенфельд из Курземе (иностранец), создал свою бригаду, которая принялась строить для нас бараки. Барак разделили вдоль коридором, и в каждой половине жили шестнадцать человек.

В нашем бараке жили и Кродерсы – мать с двумя сыновьями. Им привыкнуть к новым условиям было чрезвычайно трудно. Да и выйти они никуда не могли – на ногах какие-то тапочки. Всю одежду, всю обувь, которую захватили с собой, они уже продали.

А норма выдаваемого хлеба ничтожна. Нам с сестрой не хватало, а там были два молодых парня, вечно голодные. Иногда женщины доставали где-то мешки, в которых привозили муку. Они были, конечно, пустые, но внутри еще что-то налипло. Выворачивали мешки, соскребали и варили в воде клецки. И мать Кродерсов варила, а ребята, сидевшие на верхних нарах, никогда не могли дождаться, пока они сварятся – есть хотелось страшно. Полуготовые клецки они вылавливали из кастрюли прямо сверху – то один, то другой. Пока мама была занята чем-то другим, в кастрюле оставалась одна жижа.

Моя мама вместе с госпожой Путекле доставала из мешков эти комки, варила в воде, а потом пекла что-то похожее на лепешки. Однажды прихожу с работы, а передо мной на столе две или три такие лепешки. Но я не могла и куска проглотить – оба Кродерса сидят на своих нарах и смотрят сверху. Пока мама не видела, одну лепешку бросила Гунарсу, вторую. Потом он об этом эпизоде рассказал в газете, только имени моего уже не помнил.

Как бы то ни было, но оба парня тогда не заболели, а мама их заболела. Полная дистрофия – ни подняться, ни пошевелиться. Кажется, была весна, когда я в последний раз видела ее возле стены, к которой она прислонилась, выйдя на улицу. Так стояла она и смотрела. Абсолютно без сил. А глаза большие, серые. Вскоре после этого госпожа Кродерс легла на свои нары, сложила руки на груди и заснула вечным сном. Ее серые глаза не могу забыть до сих пор.

Мы, остальные, продолжали биться за свое существование. Начали ловить рыбу, правда, толку было мало. Сначала нас поделили на звенья (я была вместе с Бензе и Веленой) и дали сеть – идите, ловите.

Ну как мы могли ловить? Первый раз забросили сеть, оказалось, высоко, и все поплавки примерзли ко льду. Пришел бригадир, ругается: «Что вы тут наделали?» Что? Делали, как нас на общем собрании учили: вырубите прорубь, опустите сеть и отпускайте постепенно. Как поняли, так и делали. Ничего плохого не думали.

Весной пришел приказ – отправляться пешим ходом за 170 километров еще севернее, в Сопкаргу. Там есть полуостров и залив, в котором невод удобно тащить. Впряглись в сани и пошли. Кто там эти километры считал – шли, шли вдоль Енисея, пока не увидели какие-то хибары – должна быть Инокентьевка. Дошли, а глазам моим конец – налились кровью, идти не могу, ничего не вижу. Отвели меня к местной фельдшерице, остальные пошли дальше.

В Инокентьевке было очень много литовцев, но в первую минуту я была совершенно одна. Ввели меня в какой-то дом и оставили. Никто ко мне не приходил, я тоже никуда не могла двинуться, потому что ничего не видела, даже двери не смогла отыскать. Переночевала на голых досках. Хорошо хоть хлеб был, и так я три дня там просидела. Нашли меня литовские девушки, разговаривали по-латышски, по-литовски, по-русски, и очень хорошо друг друга понимали.

Дней через десять глаза стали отходить, я начала что-то видеть. Поняла, что должна попасть обратно в Дорофеевку. К тому же там осталась мама, у нее была цинга. Все время тяжесть была на сердце, что я ее оставила там одну, да еще больную. Но местный комендант возразил: нет, не пойдешь! Через некоторое время подобрел и разрешил вернуться.

Был май, у берегов Енисея стало уже подтаивать, поверх льда появилась вода, и я решила, что ночью, когда снова подморозит, я пойду. Да и ночи не было – светло... солнце уже не заходило сутками.

Иду, иду, вижу вдали как будто гора. Решила, что это наша Дорофеевка. Иду дальше и чувствую – начинаю проваливаться под лед. Оказалось, лед уже начал крошиться, куда ни ступлю, проваливаюсь. И все же решила идти дальше, потому что добралась уже до середины реки. На мне была «обувь», которую смастерила мама, – две пары носок, между ними прокладка из ватина, срезанного у пальто, и сама я связала тапки из веревок. От воды все расплозлось, и шла я по льду почти босиком.

Не знаю, сколько прошла километров, и санки за собой тащила. Вышла около двенадцати ночи, смотрю, с берега машут мне знакомые литовки. Значит, никуда не ушла... В десять утра снова пришла на берег и без сил опустилась на снег. Девушки отвели меня в хибару, где я спала до этого.

Пока не закончился ледоход, о том, чтобы идти или даже ехать по Енисею, нечего было и думать. И я направилась по берегу, где весенние потоки оставили после себя наполненные водой ямы. Первое, что увидела, подходя к Дорофеевке, – были мачты радиостанции. Обрадовалась, что наконец-то дошла, и тут же увидела похоронную процессию – люди несли два гроба... Испугалась – а вдруг в одном мама... Как стояла, так и села, услышав, что поют по-латышски. А потом бегом припустила к нашему бараку, где, к счастью, нашла и маму, и сестру.

Потом уж узнала, что хоронили двух женщин из соседнего барака, они отравились рыбой. Поч-

ти весь барак так и вымер. Помню, что жила там госпожа Страздиня. Семья Фрейденфелдсов – мать, отец и две дочери. Из них только отец – Варис Фрейденфелдс – выжил. Он вообще в бараке был единственный, кто выжил.

А мама так и болела цингой, в коленях ноги ее свело углом, так что ни ходить, ни даже шевельнуться она не могла. Могла она только лежать. Хорошо, что была там одна фельдшерица, которая посоветовала: «Собирайте корешки, отваривайте». Начали с сестрой собирать в тундре все, что можно было отыскать, заливали кипятком. У нас даже ванночка была с собой, и сейчас она пригодилась: наливали отвар и сажали в нее маму. Через какое-то время маме стало лучше – и ноги выпрямились, и самочувствие улучшилось.

Вместе с нами жили там и еврейские семьи. И госпожа Гинзбург из Америки получала посылки. Однажды она принесла баночку зеленого горошка и сказала: «Когда мама это съест, она поправится». Так и случилось. Не знаю, помогли ванны или зеленый горошек, но к лету мама была уже здорова.

И летом (мне уже исполнилось 18, сестре 15 лет) нас увезли в ту самую Сопкаргу, где остальные обитали уже давно. Национальности там были самые разные – русские, латыши, поляки, и из Коми АССР... В нашем бараке поселили трех русских, которых только что выпустили из тюрьмы (один был полный отморозок). Спустя время снова послали нас ловить рыбу. Снова разделили на звенья (нас с сестрой придали этим трем русским), дали лодку. Двое мужчин сели на весла, третий рулевым, а мы с сестрой должны были закидывать невод... А мы не знали и что такое невод, и с какого конца закидывать его в воду... как вышло, так и вышло... Но они нас не ругали, ругались они между собой. И такими словами обменивались, которых мы до того не слышали. Дома спросили у мамы. На что она ответила: «Только не повторяйте!»

Так вот и рыбачили мы. Уловы были хорошие, ловились омули – жирная, красивая рыба. Нам ее брать не позволялось, а на месте сварить иногда разрешали. Мужики не соблюдали никаких запретов – разводили костер на берегу и варили омуля ведрами. И нам доставалось по рыбине. Они тогда спасли нас от голода. А потом за работу стали платить, правда, копейки.

После Сопкарги попали еще дальше на север – в Шайтанку, на Баренцево море. Там пробыли недолго, потому что кончилась война, и мы уехали

обратно в Сопку, и начали думать о возвращении домой. Астра Зандберга списалась со своей матерью, которая тоже находилась в Сибири, и решила ехать домой. Ни ее кто отпустил, ни испросила она у кого разрешение – решила, купила билет и уехала.

И мы начали думать, что пора оттуда уезжать. Все уже поразъезжались – кто в Усть-Порт, потом в Дудинку. Из нашей семьи я первая уехала в Дудинку, а потом мама с Терезой. Стало легче, ловить рыбу не надо было, устроилась в буфет аэропорта. Ничем другим, кроме печенья и чая, там не торговали, ответственности никакой. Но на пропитание зарабатывала.

Когда приехали мама с сестрой, получили в Дудинке квартиру. Некоторое время и сестра работала в аэропортовском буфете, а я благодаря очень хорошей соседке – русской – устроилась продавщицей в мясной магазин. Потом направили меня в промтоварный магазин, где проработала я до 1956 года, когда нас реабилитировали.

В 1954 году вышла замуж за Паулиса, и мы решили, что сначала съездим в Латвию в отпуск (мне

полагалось полгода), посмотрим, как здесь – можно возвращаться или нет.

В 1957 году приехали. Все лето прожили в Субате, где оставались мамин брат и сестры. Осенью вернулись в Сибирь. Я работала в том же магазине, прожили там еще два года. И в 1959 году вернулись в Латвию навсегда. Первым приехал муж, потому что он попал там под машину и сломал ногу. Кости сложили неправильно, пришлось делать еще одну операцию, и мы отправили его домой самолетом (вместе с Норой Граудой). Я до весны осталась. И вот все мы – мама, сестра с мужем Арнолдсом, сложили свои вещички, доехали до Красноярска, погрузили вещи в контейнер и на пароходе отправились в обратный путь на родину.

Вначале нас нигде не прописывали, остановились мы у тети Паулиса, она работала врачом в туберкулезном диспансере. Сами мы тоже искали пристанище. Сложились с сестрой и купили домик. В отцовский дом вернуться не могли. В Карсаву съездили, но в доме жили чужие люди.

Что на самом деле произошло с отцом, мы не знаем, и сказать нам не может никто.



*Слева: Тереза, мать Мария, Хелена, отец Игнатс*

# ИНТА ГРИНБЕРГА (БЛУМА)

родилась в 1937 году



Звать меня Инта Блума, в 1941 году была я Инта Гринберга.

В Сибири я провела 14 лет – в 1941 году меня увезли, вернулась в июле 1955 года. Там прошло мое детство и часть юности. Детство мое потеряно, ни одного дня я не ходила в латышскую школу, и выбор специальности тоже был продиктован тамошними обстоятельствами – кем могу, а кем не могу быть. Когда я вернулась в Латвию, отторжения не чувствовала, и меньше всего в музыкальной школе Мединьша. Отзывчивость проявляли все. Я поступила в латышскую группу, трудно было, конечно, записывать лекции. Я слушала, тут же переводила и писала по-русски. Но не выдержала, сказала, что перейду в русскую группу. Девочки приходили ко мне и в один голос говорили, что никуда меня не отпустят, что помогут, дадут переписать. Там были славные люди, например, Петерис Риба, Мария Мединя. Они знали и понимали, кто мы, где я побывала, никаких препятствий не было. Навстречу мне шли и в Консерватории, когда я рассказала, откуда я и что у меня сложности с латышским языком. Сказали: пожалуйста, пиши сочинение на русском. Все экзамены сдавала на латышском, а этот на русском.

Самый яркий эпизод произошел в 1948-м или в 1949 году, было мне одиннадцать или двенадцать лет, отцу уже разрешили писать письма, и он написал, что я могу приехать к нему в гости. Дорога была непростая – сначала надо было пешком добираться до Канска, это 20 километров, до Решот – 100 километров – шел поезд. Так написал папа. Еще он написал, что из Решот узкоколейка ведет в такой-то и такой-то лагерь. Номера не помню. Приехала, стала спрашивать, где узкоколейка, оказалось, на пару километров дальше. Пришла,

стоит будка, снова спросила, как добираться дальше. Мне ответили, что поезд только что ушел, следующий будет ночью. Сидела я в будке, дождалась поезда. На нем возили бревна из леса, а в двух вагонах возили рабочих и охрану. Вышла там, где мне указали, ночь, темно. Увидела – как в кино – вокруг колючая проволока, бегают и лают собаки, высокие вышки с охраной, прожектора, ворота. Подошла к проходной, говорю – я приехала к папе. Спросили, как фамилия. Называю: Гринбергс Беньяминс. Заглянул он в список и говорит – здесь такого нет. Спросила, правильный ли номер лагеря. Правильный, отвечает. Думаю, что же делать мне здесь ночью, не помню, конечно, о чем думала. Мимо шел мужчина, спрашивает по-русски, как я, маленькая девочка, ночью здесь одна оказалась. Рассказала, назвала фамилию отца. Он заговорил со мной по-латышски, сказал, что да, есть такой. Отведу! Это был Микельсонс. Просто в списках фамилия отца была написана иначе. Все закончилось хорошо. Отцу разрешалось выходить за ограждение, работал он в теплице, за пределами лагеря. Все продукты в лагере производили сами. Нам отвели небольшую комнатку, и я провела с отцом два дня. Он приносил мне еду, вместе ходили в тайгу. Тогда только я поняла, что такое тайга. Без топора там вообще не пройти, все растения переплетены, мошка – такие маленькие крохотные мушки. На голову пришлось надевать сетку, в голое тело впивались и с мясом выедали. Показал мне отец и место, куда трупы просто привозили и выбрасывали, видны были черепа, которые растаскивали волки. Там много латышей осталось.

Не помню, как возвращалась, вероятно, точно так же, как ехала к отцу. Когда отец отбыл наказание, он вернулся домой. Случилось это через одиннадцать лет. Из Решот отца, не

*Подошла к проходной, говорю – я приехала к папе. Спросили, как фамилия. Называю: Гринбергс Беньяминш. Заглянул он в список и говорит – здесь такого нет.*

знаю, почему, отправили в Казахстан, и только после этого отпустили к нам, в Сибирь.

Смотрю сегодня я на свою десятилетнюю внучку – вряд ли решилась бы я отпустить ее даже в 12 лет одну в тайгу. Мама, видно, верила, что меня кто-то хранит, и смело меня отпустила.

Учились мы намного лучше, чем русские дети. Среднюю школу я окончил в Филимоново, и единственный город, где я могла учиться дальше, был Красноярск. Я хотела поехать в Иркутск, но туда нас не отпускали. В Красноярске было два института – лесотехнический и медицинский. Мне всегда нравилась медицина, и мой брат туда поступил, но в конце ему сказали, что он так или иначе работы нигде не получит, вот я и подумала – а мне это зачем? Когда я училась в последнем классе, в школе открылся класс фортепьяно. В Красноярске было музыкальное училище, я поехала и поступила, хотя мне говорили, что голос у меня не хорош. Поступила на отделение хоровых дирижеров. Еще до этого, когда я поняла, что в училище вряд ли поступлю, и хотела уже забирать документы, мне встретилась учительница и спросила, куда я собираюсь поступать. Когда я сказала, она велела мне идти обратно, меня сейчас примут. Такая вот судьба – я окончила музыкальное училище, приехала

в Ригу, окончила училище Мединьша, потом консерваторию, я не жалею, что музыка стала моей специальностью, но медицина осталась для меня недостижимой мечтой... стать медиком в другой жизни. Это было унижительно – мы, ссыльные, не имеем права быть теми, кем хотим. Мы совершили преступление, хотя мы его не совершали. Возможно, родители были в чем-то виноваты, но дети совершенно ни в чем. Но так было, так происходило в те времена.

Когда семья вернулась, где вы жили? Так как отца после смерти Сталина реабилитировали, он получил право жить в Риге. Мама уже была на пенсии, не работала. Я училась в музыкальной школе, брат в Политехническом институте. Был даже такой закон – реабилитированным предоставлять жилплощадь, если они имеют право проживать в Риге, а квартиры у них нет. Первые два года жили мы у родственников, потом нам дали маленькую квартиру на улице Таллинас – на четверых однокомнатную маленькую квартирку. Я вышла замуж в 1961 году и ушла оттуда первая, потом брат, родители остались. Отец работал на радиозаводе им. Попова, в столярном цехе. Работал там до выхода на пенсию.

Когда я оформляла мамины документы, вот тогда я почувствовала не совсем доброжелательное отноше-



*Инта с матерью Миллией и отцом Бенъяминышем в Латвии*

ние. Я уже была в Латвии, отец реабилитирован, он имел право приехать в Латвию, и брат мог приехать. Станным образом, но маме не разрешили. Мама поехала вслед за мужем, маму не судили. Но ее в Латвию не пускали. Тетя помогла нанять адвокатов, и я с документами должна была ходить к высокопоставленным персонам. Два эпизода. Пошла в главную прокуратуру: в большом помещении за столом сидит офицер, рядом с ним второй офицер с автоматом. Я, девчонка, стою, разговариваем на расстоянии. Разговор, вся ситуация была ужасная – словно бы я нанесла урон государству или совершила нечто подобное.

Второй эпизод: поход к председателю Рижского горисполкома. Он пригласил меня присесть к письменному столу и рассказать все подробно. Это была единственная инстанция, где со мной разговаривали как с человеком, который не совершил ничего дурного.

Я училась в консерватории на последнем курсе, когда мне предложили работу в Министерстве культуры. Сходила к Зандерсонсу и Пастернаку, душевно поговорили, говорили и о том, как хороша природа Сибири. Там действительно удивительно красиво. Словом, на работу меня приняли. Но был там такой секретарь партийной организации, в отделе кадров

он увидел мою биографию, документы и сказал министру (министром тогда был Каупужс): «Что вы об этом думаете? В центральный аппарат принят на работу человек, который в 1941 году был выслан? Как вы пошли на такое?» На что министр ему ответил: «Если она будет хорошо работать, она будет у нас работать, если плохо – она не будет у нас работать». Об этом мне рассказала начальник отдела кадров. Этим все и закончилось, и в Министерстве культуры я проработала 33 года. Больше ничего предосудительного в отношении себя не испытала.

В 1991 году, во время баррикад, была в Министерстве внутренних дел, попросила документы отца – хотела знать, за какие грехи мы провели там пятнадцать лет. Человек этот нехотя мне ответил, что здесь документов нет, возможно, они в Москве... искать их придется долго. И я подумала: что ж, нет, так нет, но когда-нибудь... Отец рассказывал, что ему дали подписать обвинительный акт – белый лист бумаги, напротив за столом сидел военный с револьвером в руке и сказал: «Или ты подписываешь, или распрощаешься сейчас с жизнью». Когда отец спросил, за что, ему было сказано: «За то, что не воспитали тебя в коммунистическом духе». Все. Очевидно, вот так все и происходило.



*Инта в Сибири. 1954 год*



## МИРДЗА ГРИНБЕРГА (ДВИНСКА)

родилась в 1931 году

Я родилась в Риге и всю свою жизнь до и после ссылки прожила в Риге. Мама работала в Государственной библиотеке. Отец работал в разных местах, последнее место работы – Государственная библиотека, сначала работал дворником, потом истопником. Никакой собственности у нас не было. Старшая сестра Спидола, она на два года старше меня, уже ходила в школу, за ней пошла в школу и я. В 1939 году родилась младшая сестричка. Вся семья жила в государственной квартире, около библиотеки. В домике, что во дворе, а перед ним большие ворота. Отец возле этих ворот сфотографировался.

Летом помогали отцу заготавливать дрова. Отец держал пилу с одной стороны, мы с сестрой по очереди со второй. Когда он бывал занят, мы должны были все дрова аккуратно сложить. И в 1940 году для нас ничего не изменилось. 14 июня 1941 года в пять утра возле ворот позвонили. В квартире у нас была одна маленькая комната, где стояли две кровати, небольшой шкаф и кроватка младшей сестренки, в кухоньке – плита, шкафчик для посуды, стол и диванчик. Мы с сестрой спали на одной кровати, валетом. Папа разбудил нас – пришли незнакомые люди. У меня в первую минуту, когда он меня разбудил, пропал голос. Те, кто за нами приехал, велели взять с собой теплые вещи. Мама надела на нас зимние пальто. Богатств у нас никаких не было, так что и брать с собой особенно нечего было, да и времени на сборы было мало. 100 килограммов на пятерых.

Вывели нас через ворота, возле которых стоял грузовик. Библиотека тогда находилась напротив Рижского замка, зеленели чудные липы, утро было солнечным, солнечные лучи пронизывали ветви деревьев, словно с нами

здоровались. Мы еще не знали, куда нас повезут. А отвезли нас на станцию Шкиротава, там стояли длинные эшелоны из товарных вагонов. Окошки забраны решетками, возле каждой двери вооруженный красноармеец. В вагоне уже находились люди, нам велели садиться, все это время вся семья была вместе. Мы забрались на верхние нары, и двери за нами закрылись. В обоих концах вагона были нары в два этажа. Около пяти часов вечера двери открылись, и всем мужчинам приказано было выйти. Из окошка мы видели, как их перевели через рельсы, туда, где был еще один эшелон, с этого момента отце больше не было никаких сведений. Родился мой отец 16 апреля 1904 года в Валмиере.

Осталась мама и три девочки. Было еще много детей, младше или старше. Наутро эшелон тронулся. Ясно запечатлелись в памяти Уральские горы, сквозь решетку видны были вершины гор. А эшелон катился дальше. Привезли нас в Томск. Из вагонов высадили и повели вдоль причала. Посадили на большой пассажирский пароход, и отправился он по Оби на север.

В вагоне нам давали хлеб, был и какой-то суп. Приносили что-то утром и в обед. Туалет отгородили вещами, была это труба, которая выходила прямо на улицу... Из вагона никуда не выпускали. Когда поезд останавливался на станциях, вносили еду в ведрах, мы делили – кое-какая посуда с собой была. По дороге никого в нашем вагоне не похоронили, до конца доехали все. И на пароходе

мы не голодали. Доплыли до Парабели. Вода еще не спала, и пароход сумел войти в речку Парабель и причалить к пристани. Собрали мы свои пожитки и сошли на берег. Остальных повезли дальше. Малень-

*В июне 1943 года  
малышка умерла.  
Ей стало плохо,  
мама отнесла ее в  
больницу, и врач  
сказала, что она  
проживет еще  
четыре дня.*

кая сестренка, когда ее выносили с парохода, потеряла сознание. Сопровождающие отвезли маму с ней в больницу, больница находилась недалеко от причала.

Мы с сестрой остались на причале, присели возле сарая на свои вещи и сидели. Грузчики, работавшие на причале, принесли нам пропитанные дегтем сетки – чтобы мошкара не лезла в лицо. Сидели мы так до самого вечера, вернулась мама, а сестренку оставили в больнице. Грузчики помогли нам в ту первую ночь. Когда нас ввели в чей-то дом, хозяин сказал так: крышу над головой и пол, где спать, мы вам можем предоставить, а когда мы сюда приехали, здесь была дремучая тайга, но у нас были пилы и топоры. Мы поблагодарили за кров.

Всех нас сначала поселили в церкви – всех, кого привезли. Потом развезли по колхозам. А так как сестренка наша была в больнице, нас оставили в Парабели. Мама устроилась работать... артель называлась «Металлист», она должна была топить печи и убирать швейные цеха. У артели была хлебопекарня, где хлеб пекли для всей Парабели, столярный цех, сапожный цех. Почетной обязанностью мамы была забота о швейном цехе. Чурбаки были большие, надо было колоть, я приходила маме на помощь. Пока младшая сестренка была в больнице, помогала и старшая сестра. Младшую сестру звали Скайдрите.

Не знаю, как мы оказались в таком вот месте – когда-то была здесь картофельная яма, теперь огороженная вроде сарайчика, лавки вдоль трех сторон, маленькое оконце. На лавках ничего не было. И у нас с собой ничего не было, спали на голых досках, в том, что было на нас надето, – это было и снизу, и сверху. Так вчетвером мы там и жили. Печки не было, печка была чуть дальше, но до нас тепло не доходило. У нас было небольшое помещение возле самой двери. И жили мы там до тех пор, пока я не вернулась на родину.

Когда сестричку выписали из больницы, старшая сестра Спидола нянчила ее, я помогала маме. Малышка была очень больна. Мама давала мне рубль, чтобы я купила для нее яйцо. Половину села обошла, просила, чтобы мне продали одно яйцо. Ответ был один – продавать нечего. Но все-таки у кого-то я купила это яйцо. Никому не хочу пожелать такого, ходить и просить очень и очень трудно.

В июне 1943 года малышка умерла. Ей стало плохо, мама отнесла ее в больницу, и врач сказала,

что она проживет еще четыре дня. Так и случилось. Я помню, сестренка потеряла сознание, я побежала за мамой на работу, она пришла. Не было воды, я взяла ведро, пошла к колодцу, а когда вернулась, сестренка уже умерла. Младшую сестричку похоронили. Старшая сестра пошла работать. Мы все три считались работницами швейного цеха.

Сестренке сделали гробик. На похороны нас с сестрой не отпустили, надо было работать. Сестричке было три года и восемь месяцев. Она была небольшого росточка, и гробик два человека опустили в могилу. Мама сама отвезла ее на кладбище, больше никого не было. Возле Парабели было кладбище, называлось Бугры. Я на это кладбище пару раз наведалась. Надо было работать, часто на кладбище не пойдешь... случилось, что гробов не было, тогда просто клали доску, заворачивали в простыню и опускали. Особенно трудно было хоронить зимой. Рассказывали, как похоронили одну женщину, а весной пришлось хоронить снова – замерзшая земля ее выдавила.

В цеху работали латыши, работали и вольные, у которых закончился срок ссылки. За хлебом с утра надо было занимать очередь, давали по карточкам. Идти надо было рано, после обеда хлеба уже не было. Не знаю, то ли меня попросили, то ли я сама стала приносить хлеб рабочим в цех. Они давали мне свои карточки, я выстаивала очередь, продавщица отвешивала, сколько уж кому полагалось. Детям давали по 300 граммов, взрослым по 600, а это совсем небольшой кусочек, потому что хлеб был сырой.

Я складывала хлеб в холщовую сумку, приносила, раздавала. Они меня все любили. Когда настала зима, мама пошила мне из тряпочек капор, как у гнома, и в цеху меня прозвали маленьким гномом.

В мою обязанность входило нагревать утюг, надо было заполнить его углем. Надо было топить плиты. Угольки набрать, насыпать в утюг, поджечь, чтобы они медленно тлели. Я и самовар ставила. Сначала я не понимала, что мне говорят. Но когда мне показывали, я тут же повторяла.

Язык мы выучили. Вероятно, так в жизни бывает, если иначе нельзя. Дома говорили по-латышски, иногда вставишь русское слово. Мы, дети, научились говорить очень быстро. Чтобы кто-то из нас не умел говорить по-русски, такого не было.

Мне продавщица доверила даже такое. Сказала: что ты выстаиваешь в очереди, приходи к пекарне, когда я беру хлеб для киоска, я тебе сразу дам весь,



а ты в цеху развесишь. Но первые три дня я оставалась без хлеба, когда работницы это заметили, сделали мне деревянную чурочку весом пять граммов, и я ее клала туда, где лежал хлеб, и тогда мне уже мой хлеб доставался. Это была работа, которую делала я для цеха, будучи ребенком. Мне уже тогда приходилось заботиться о людях. Отчего так повернулась судьба, я не знаю.

Обычно это бывало в зимние месяцы или ранней весной. Надо было сдирать с осин кору, которая шла на обработку кож. Был и кожевенный цех. Кожи замачивали в огромных чанах, для этого нужна была осиновая кора, которая окрашивала кожи в желтый цвет. Собирали и детей, и взрослых, и уезжали мы обычно на другой берег Оби, там была большая осиновая роща. Выехали из Парабели, принялись обдирать кору. Воткнешь нож в дерево, подхватишь полосу и начинаешь отрывать до самого верха, потом скручиваешь и складываешь в большие кипы. Кипы мы должны были нести на берег. Запомнилась большая песчаная площадка, осиновая роща находилась примерно в километре от берега Оби, нам надо было нести кипы на берег, откуда их грузили в лодку. На спину кипу взваливали вдвоем, шли через котловину без единого деревца. Нести тяжело, но нести надо, на землю не положить, отдохнуть, опереться спиной тоже было не на что. Раз уж взвалили тебе на плечи, донести до берега надо было обязательно, потому что за тобой шел следующий с таким же тюком, и он тебе ничем не мог помочь.

Перевезли нас на тот берег. Вместо хлеба выдали овсяную муку. Дали немного масла, еще каких-то продуктов, сколько полагалось по карточкам. Была у нас лодка. Бригадирша на лодке уехала в село. Было нас каких-нибудь шесть или семь человек. Смотрим, идет черная-черная туча. Гроза, тучи накрыли деревья. Было страшно, потому что в детстве отец рассказывал, что под деревьями во время грозы стоять нельзя. Решили мы переждать грозу на берегу реки. У меня с собой в глиняном горшке была каша из овсяной муки, сложили в одну кучку все, что у кого было, прикрыли собой от дождя и так и сидели.

И заснули. А когда началась гроза, проснулись, когда нас засыпало песком и залило водой. И вместо молока в горшочке у меня оказалась вода, вместо сахара – песок.

Надо было сажать картошку – поехали помогать колхозу. Потом сенокос. Обуви не было.

Обувь была только зимой. Сшитые вместе звериные шкурки и какие-то носки внутри. Как только становилось тепло, бегали босиком. В лес босиком. В поле босиком. А стерня колется. Но как-то научились по ней ходить. Правда, от сырости пятки в трещинах, а стерня в ранку попадет – слез не оберешься. Но мы знали – никто тебе не поможет, никто ничего не даст. Но никто над нами не стоял с батогом, как деревенский староста, работали мы так, как работают все люди. Местным жителям было немного легче, была какая-то обувка, у нас же ничего не было.

Богатство Сибири – черная смородина. Ягоды красивые, крупные, растут в лесу, мы должны были ее собирать, и ягоды шиповника тоже. Нужно было набрать и сдать определенное количество. Нас там кормили. И нам, если забивали барашка, тоже что-то доставалось. Уж совсем-то мы не голодали. Досыта не ели, но и не голодали, это уж точно. В лесу выдали нам однажды, как мы смеялись, «паек», за несколько дней подъели, хлебушек. Привезли из колхоза кислую капусту, а в ней черви. Нам, детям, ничего, а взрослые говорили, что такую капусту есть нельзя. Хлеб доели, надо было приниматься за капусту. Ничего, съели, не умерли. И еще бы не отказались.

Когда шел дождь, строили мы шалаши из веток. Внизу подкладывали ветки, иногда сено. Иногда удавалось построить такой шалаш, что и дождь внутрь не проникал, а иной раз утром проснешься весь промокший. Так и жили мы в лесу, пока не оберем весь шиповник, а тут и холода подступали, и мы возвращались в цех. Ездили мы посменно. И вот поехали мы в лес, а первая смена, где была сестра, возвратилась в село, и у сестры заболел зуб. Осталась я и еще двое взрослых; ждали, пока нас не сменят. Смена приехала, и мы пошли. А впереди большое болото. Взрослые с кочки на кочку перепрыгивают, а пока я ползла, они уже ушли вперед, уже на горе. Вероятно, они дорогу знали. И я на той горе, как учил папа когда-то, стала ориентироваться по солнцу. Как течет Обь, я знала, так и вышла в село. Видно, родилась я в рубашке, потому что из тайги могла сама не выйти, а было мне лет 12–13, не больше. Ни медведя я не встретила, не заблудилась, и вечером пришла домой.

Нужно было подвозить с Оби продукты на сенокос. Был бригадир, мужчина, что ни слово, то мат. Он сидел в лодке, рулил, чтобы лодка на мель не села. Я, с постромками через плечо, тащила лодку

вдоль берега, нога застрянет, вытащу ногу и тащу себе лодку дальше. Так я эту лодку и волокла. После возвращения училась я в 7-м классе, ребята говорят: смотри, бурлаки на Волге, а я им в ответ: мне смотреть нечего, я сама была бурлаком на Оби.

Была у меня куколка, ее продали, чтобы купить картошки или хлеба. У мамы с собой были ножичек, вилочка и ложечка, подаренные мне на крестины, и это продали. Не знаю, где ножичек, но где-то должен быть еще черенок. Ножичек истерся, а черенок и куколка каким-то образом ко мне вернулись, когда я оказалась на родине.

Уже подмораживало, а мы все еще бегали на работу босиком. Как-то утром глянули в окно – вся земля белым-бела, а на работу бежать с километр. Но мы все же побежали, прибежали, и ноги под себя – греть. Начальник цеха видел.

Был ли он из высланных, сказать не могу, но он принес нам кожаные тапки, похожие на постолы. Ох, и обрадовались мы! Вероятно, сегодня и лаковые туфельки не доставят столько радости. Были какие-то носки, в цеху вязали рыбацкие сети. Сестра ловко управлялась с этой работой, вязала мелкие сети.

Я научилась шить. Закройщик научил меня шить брюки. Он сказал: сначала научу вас шить брюки, чтобы, когда замуж выйдете, мужу брюки могли пошить. Русский человек, веселый, все шутил, добрый человек был. В цеху мы все были почти равны, старались помочь друг другу. Начальник артели сказал маме: вы в тюрьме без решеток. Мы никуда не могли уйти, документов у нас не было, да и куда пойдешь через тайгу.

Я всегда находила себе какое-нибудь дело. Однажды, было это во время войны, за месяц заплатили всего два с половиной рубля, но мы были рады, что у нас есть хлебная карточка.

Сапожники чинили старую обувь, перетягивали, ставили подошву, задник, а между – прокладку из бересты, для этого требовался клей. Клей делали из пыли, которую в хлебопекарне смахивали со стен. Заливали кипятком, но клей этот держался всего один день. Утром мне надо было во всех консервных банках приготовить свежий клей; если они до вечера не успевали его использовать, к утру он становился черным, как уголь, но я радовалась, когда клей оставался с вечера, я его съедала, считала это платой за труд. Теперь, когда рассказываю, люди удивляются, как это можно? Можно, если человек голоден, он многое может.



*Мирдза со старшей сестрой Спидолой в Латвии*

Летом было легче. Весной крапива появлялась, лебеда как-то у нас шла не очень. Обычно собирали мы крапиву. Если шел кто-нибудь навстречу с крапивой, которую собирал справа, обычно говорил, что собирал слева, чтобы на завтра можно было придти и самому снова набрать. Соли не было. Крапиву варили, отжимали, запекали с одной и с другой стороны на горячей плите, потом эти лепешки съедали с крапивным супом. Болотный чеснок, настоящий, и его мы ели. Тем, кто не мог есть лук и чеснок, тем было труднее, почти никто из них не выжил. Те, кто ел чеснок и крапиву, те выжили.

Однажды я заболела. Лоб раскалывался, я даже глаза вниз опустить не могла. Одна русская женщина, у которой был маленький домик, сказала: приходи, поспи на русской печи. Пошла я с ней вечером. У нее был свой домик, кусочек земли, картошка. Накормила она меня ужином. Печка горячая-горячая. Забралась я на печь. Колодцы обычно замерзали, лед рубили, и когда доставали воду, в ней плавали куски льда. А рядом с ведром ковшик. Ночью мне страшно пить захотелось, спустилась я с печки, выпила ледяной воды и снова забралась на печь. Утром проснулась, голова не болит, мне так легко, так хорошо, я и сегодня еще помню, как хорошо я себя чувствовала. По сегодняшний день я благодарна этому человеку. Она отдала мне свой ватник, в котором я вернулась на родину.

Там все люди были товарищи по несчастью, все испытали трудности, все пережили голод, все понимали, что идет война. Там и хлеб выращивали,

но все сдавали, говорили, что хлеб нужен армии, которая воюет. Пряли шерсть, вязали носки, все это посылали на фронт. Нам оставалось то, что оставалось.

Как-то не было муки, хлеб стали печь из овсяной муки, добавляли мороженую картошку, картофельные очистки, и такой хлеб у нас был. Сметали со столов в хлебопекарне остатки муки вместо хлеба, и этому были рады.

Бывало, по карточкам вместо хлеба выдавали овсяную муку вместе с мякиной. Разложишь на плите тонко-тонко, поджарится, и грызешь. Точно как адажские чипсы, может, и это давало нам силу – наедались, как лошадки.

Зимой ходили в тайгу, пилили дрова обычной ручной пилой. Мама за одну ручку, я за другую. Сестра больше в цеху работала, а когда ездили в лес, и она с нами ездила.

В школу не ходили. Сначала языка не знали, потом работать приходилось, надо было как-то выживать. У одной продавщицы был свой домик. Настоящий семейный дом, и она доверила мне все

свое хозяйство. Давала ключ, чтобы я в доме все вычистила, вымыла, пыль вытерла. Она мне за это давала то хлеб, то картошку.

Как-то нечего было есть. А была там такая госпожа Эглите, она в другое место перебиралась. И был у нее фибровый чемодан, полный вещей. Взгромоздили вдвоем этот чемодан мне на спину, согнулась я под его тяжестью, но на гору занесла. А в гору надо было шагать с километр. За это получила я три свеклины и две картофелины. Зато у нас у троих был ужин.

Вероятно, болеть нам было некогда. Три дня меня не пускали в цех, потому что на теле появилась какая-то сыпь. Никто не знал, откуда она появилась и как прошла. Была у меня и золотуха, вся голова в струпьях. Мама повязывала мне голову марлей, она намокала, каждый день надо было менять. Мазали рыбьим жиром, ела чеснок.

Регулярно мыться не получалось, зато летом навёрстывали. Мыла не было, делали из золы щелок, в этой воде мылись, стирали. Зимой не мылись месяцами – холодно было. Понятно, что и от грязи,



*Мирдза со старшей сестрой Спидолой*

и от голода завелись и у нас эти милые вошки. В несметном количестве. Под болячками еды у них было много, становились толстые, как фасолины. Днем я их давила на дощечке, а ночью руками доставала. Темно, света никакого у нас не было, единственный выход – на зубок. Перекусишь, щелкнет, и знаешь, что уж теперь она твою кровушку не будет сосать.

Когда голова моя покрылась болячками, маме разрешили отвезти меня в Колпашево. Город побольше Парабели. Дали катерок, чтобы отвезла в больницу. Дело было летом, в больнице были люди, обгоревшие на солнце, вся спина в язвах. На затылке у меня разрезали корку, и примерно половина стакана гноя вышло. Если бы тогда не почистили, вряд ли бы я выжила. Обрато ехали на большом пассажирском пароходе, в четвертом классе. На пароходе были скамейки, чтобы можно было просто посидеть. Было мне тогда 14 лет. До поездки спала мало, в Колпашеве тоже все по врачам да по врачам. Села я на лавочку и заснула, но захотела в туалет. Стала искать, бродила по пароходу из конца в конец, по кругу, а туалет найти не могу. Мама

спохватилась, пошла меня искать, задала трепку, и я проснулась. Оказывается, я раз пять мимо туалета прошла. Спать можно и на ходу, можно и стоя. Похоже на анекдот или на сказку, но это действительно, это жизнь.

Я никогда не испытывала чувства ненависти, и в те времена тоже, хотя было невероятно трудно. Ни мамочка, ни я, ни сестра не говорили, что нам трудно или мы что-то не будем делать. Что нам велели, то мы и делали. Когда приходили на молочный завод и нам давали сыворотку, мы были рады. Вероятно, так нам было суждено жить. Сажали картошку, убирали картошку. Жили. Всей стране тогда было трудно, был голод, но мы выжили. Были политические агитаторы, рассказывали, как идут дела на фронте, но нас, детей, это не интересовало. Когда объявили, что кончилась война, обрадовались, появилась надежда, что, может быть, вернемся. На родину уже можно было писать письма.

В Торнякансе жила мамина мама. Жила у какого-то человека, прислуживала в его доме. Убиралась, стирала белье. Сюда, в эту квартиру, я и пришла,



*Розалия в Сибири*

когда приехала домой. Мама, кажется, писала в Государственную библиотеку, сообщила наш адрес. Бабушка прислала нам денег. Первый раз 10 рублей, и мы на них что-то купили. Если мы во сне видели, что убили вошь, обычно от бабушки приходили деньги. Она тоже не могла себе многое позволить.

Прошел год, и в 1946 году приехали две или три женщины из Риги и сказали, что дети до 16 лет могут возвращаться на родину. Мне было 15 лет. Мама меня отпустила, и я уехала к бабушке. Я сказала, что буду работать и помогать мамочке и сестре. Сестра была старше меня на два года и осталась с мамой. Расставаться было трудно, когда она пришла меня провожать и пароход дал последний гудок, этот гудок пронзил все мое тело. Но я все-таки справилась с собой.

На пароходе мы отплыли в Томск. Привезли нас в детский дом. Оформляли документы, чтобы отвезти нас в Ригу, 27 сентября выехали из Парабели, 13 октября – из Томска. Недели две жили в Томске. Дети есть дети, хотелось пошалить. Накидывали на себя простыню, подушку в руки, ходили пугать соседей – призраки идут... Всех нас постригли наголо. Мне волос не жалко было. А у одной девочки были косы, длинные, с метр, наверное, так она пряталась, чтобы ее не остригли. Когда приехали в Ригу, у нее почти все волосы вылезли. Обратно ехали тоже в телячьих вагонах с нарами. В одном вагоне ехали девочки, в другом мальчики. Нас кормили, освещался вагон свечками.

С нами были две четырехгодовалые девочки, обе Майи, одна Раудзепе. Когда выехали из Парабели, мама поручила мне обеих. Проводница сказала, что малышей следует положить у стены, в конце вагона. Я возразила: нельзя в конце вагона, им надо писать. Положили их впереди, может быть, это спасло проводниц от тюрьмы. Наши вагоны прицепили к скоростному поезду, мотало нас из стороны в сторону. Долго ли так ехали, не знаю. Неожиданно надломилась доска, на которой держались нары. С нами были и эстонские дети. Одной девочке придавило коленку. Врача не вызывали. Только вылезли из-под провалившейся полки, как у нижней полки отломилась передняя доска. Подумала: хорошо, что малышей не положили у стенки, им было бы сейчас плохо. В первую ночь я дежурила, топила печурки. Проснулись все, оттого что страшно болели животы от тряски. Потом привыкли.

В Новосибирске наши вагоны отцепили, выпустили нас гулять. Мы вышли, стоим и смотрим

друг на друга, понять не можем – то ли едем, то ли стоим. Чувство было такое, что мы все еще качаемся. В Свердловске сказали, что стоять будем час. А нам в туалет надо было. Припустили бегом. Боялись опоздать, потому что у нас не было никаких документов.

Привезли в Москву, остановили поезд где-то на окраине. Подвезли туда гуманитарную помощь. Умылись мы как следует, сняли с нас обноски, приодели. Отвели в московское метро. Заплати пять копеек, спустись и катайся хоть весь день. Метро там на самом деле удивительное, есть на что посмотреть.

В Ригу приехали 25 октября 1946 года. Еле успели выбраться, подъехал локомотив, и наши вагоны утащил куда-то. Вагоны были уже бесформенные, кривые, косые.

Посадили нас в автобус, повезли в Агенскалские бани, обработали, вымыли, дали рубашки и платя и отвезли в детский дом на улице Кулдигас. А потом по адресам стали искать родственников.

Приехала за мной бабушка. А мы сидим все в ряд. Как-то она меня узнала. Пешком с улицы Кулдигас шли до парка Аркадияс, потом на трамвае ехали до улицы Виеситес. Бабушка сразу же написала маме письмо. Другая бабушка жила в Валмиере, у нее был домик. Она не хотела, чтобы папа женился на маме, потому что мамина мама была бедная, а себя они считали зажиточными. Родственники отца с нами не переписывались. Поехали в Валмиеру, тамошняя бабушка дала мне брюки, надела я и рубашку. Папина мама сказала: вылитый Албертс. Я очень похожа на отца.

Оставили меня в Валмиере.

До войны я окончила два класса, в 3-м классе не училась, в 4-й походила пару месяцев, а на Новый год вернулась. Бабушка работать меня не пустила, сказала: заканчивай семь классов. В 1950 году окончила я семилетку, вручили мне как отличнице Почвальный грамоту, на которой были портреты Ленина и Сталина. Выпускной вечер состоялся 17 июня, семилетняя школа № 17... и у диплома был 17-й номер.

Летом пасла коров. В 1949 году жила у хозяйина в «Дзелзамури». Осенью хозяйин привез мне картошки, копченого сала, муки, и нам с бабушкой хватило на всю зиму.

Стала искать работу. В 1950 году было мне 19 лет. Поехала в Бишумуйжу, там был стекольный завод, не приняли меня... Походила по заводам –

не приняли. Научилась шить. Но со своей силой и энергией, я понимала, что за машинкой не усiju. Бабушка работала на заводе «Фурниерс» уборщицей. Тогда был там и радиоцех. А мастер говорит: к черту этих школьников, надоели. Человек, который устраивал меня на работу, сказал: из-за этой школьницы тебе плакать не придется.

28 июля 1950 года начала я работать на «Фурниерсе», где работаю до сих пор. Меня замечательно поздравили на 50-летие. Это единственный день, ради которого я согласна прожить свою жизнь с самого начала, со всеми ее переживаниями. Собралось человек 100. И поздравляли меня, как любимые дети поздравляют свою мать.

А мамочка со старшей сестрой остались. Сестра умерла 9 сентября 1949 года. У нее оказалась злокачественная опухоль. Я училась в 7-м классе, когда пришло известие о смерти сестры. В смерти сестры виню себя, что не исполнила свое обещание. Моя учительница Гринберга сказала мне, чтобы я не плакала, что это судьба. Что придет время, когда живые будут завидовать мертвым. Мамочка похоронила сестру рядом с младшей сестренкой, написала на бумажке имя, фамилию, число, вложила в бутылку и закопала рядом с могилкой. Сама мама попала в больницу, ее парализовало. Я регулярно каждый месяц посылала ей посылки. У нее был туберкулез, полтора года она пролежала в больнице парализованная. Посылала я маме яблоки, и мама говорила, что до самой весны в палате пахло яблоками. У нее была очень хорошая докторша. Каждый день мама должна была съесть головку лука или чеснока. Мамочка была такая же, как я, не жаловалась, сама старалась справиться со всеми трудностями. Она выздоровела, встала с постели.

Сюда мама приехала в 1955 году, в конце сентября. Я попросила ее привезти горсть земли и справку, что я там работала. И она привезла. Бабушка привела ее к воротам «Фурниерса». Мне сказали: «Твоя мама приехала». Я восприняла это спокойно, сказала им: «Идите домой, я закончу смену и приду».

Без работы мама не могла, как человек, проработавший всю жизнь. До войны она работала, изучала медицину, у нее было незаконченное высшее образование, она знала французский, русский, немецкий языки, латынь. Ее «тянуло» к медицине, и она устроилась в больнице им. Страдыня швейцаром. Проработала там до 1991 года. Она была первой женщиной в больнице, которую приняли

на работу швейцаром. В больнице ее очень любили. Работая, она помогла мне вырастить сына. Вырастить и похоронить. Она была человек работающий, человек, который умел пережить все семейные неурядицы. Никогда в детстве мы не слышали, чтобы отец с матерью ссорились.

Мама рассказывала, что когда мне было три или четыре года, друзья отца поддразнивали, мол, твоя фамилия исчезнет. Отец сказал: у моей дочери будет сын, и фамилия не исчезнет. Я была в положении. И у меня родился сын, который носил мою девичью фамилию. Слова отца исполнились. Он умер в возрасте 33 лет. Жизнь свою прожил с честью.

Мамочка всюду писала, интересовалась судьбой отца, но ответа не было ниоткуда. Когда оформляли документы репрессированных, я поинтересовалась, где же отец. Вероятно, под землей... Больше не писала. Я вышла замуж, с мужем прожили 27 лет, умер он в 1993 году. Моя жизнь – это мой завод, мои дети – это мой цех, и вся моя жизнь, с ее радостями и печалью, уже позади.

В душе моей нет зла ни на кого, ни на тех, кто принес с собой зло, нет в душе ненависти или желания отомстить. Я даже тому человеку, который пожелал мне зла и ему трудно, стараюсь помочь. Если не материально, то, по крайней мере, словом. Некоторые удивляются этому. Я способна простить всем, потому что и те люди, которые 14 июня приехали за нами и посадили в ящики товарняка, выполняли то, что им было приказано. Может быть, они знали, что если не выполнят, им грозит пуля в лоб. Богатств никаких у нас не было. Юристка, которая оформляла мои документы, сказала, что в ее практике это первый такой случай, когда она не может сказать, почему мы были высланы, потому что отец работал дворником. У нас было что есть, но не было ничего лишнего. Мы были люди рабочие. И родители отца работали, и мамы родители не были людьми богатыми.

Двоюродные братья, те и знать меня не хотят. Когда я приехала в Ригу, родственники отца мною не интересовались, боялись, что я стану задавать вопросы. Слава Богу! Бог мне всегда помогал. Я и сегодня считаю, что каждый должен строить свою жизнь сам, только ты сам можешь достичь благополучия и только честным путем. Я считаю, что должны быть чистые руки, светлое сердце, и тогда ты будешь жить хорошо, не богато, но хорошо... Счастье, когда есть друзья.



## ЯНИС ГРИНБЕРГС

родился в 1934 году

Тот день, когда нас выслали, помню хорошо. Это было 14 июня 1941 года, когда мама нас разбудила и сказала, чтобы шли прощаться с отцом, потому что отца уводят. Мы встали и в длинных рубашках вышли в столовую.

Нас было четверо: старшая Айна, ей было 12 лет, брату Гунарсу 10 лет, сестре Норе 8 лет. Мне было 7 лет.

Отец сидел в углу. К нему подовинули овальный стол так, что он не мог выйти ни в одну, ни в другую сторону. И прямо по диагонали стоял перед ним русский солдат с направленной на отца винтовкой. На конце винтовки блестел штык. Сидит человек и пишет, а него целятся из винтовки.

Чтобы проститься с отцом, мы подлезли под стол, иначе до угла было не добраться. Тогда офицер приказал солдату опустить винтовку, очевидно, направленный на детей ствол и ему показался не очень этичным.

Вскоре после этого мама сказала, что и мы должны одеться, и все должны уезжать.

Арестовывать нас пришли два русских солдата с винтовками, офицер с пистолетом и двое местных – кузнец Унгурс и Никласс. Может быть, спасибо надо сказать местным, которые помогли увязать вещи, потому что мама думала, что нас поведут на расстрел, и ничего делать была не в состоянии. Они сказали: «У вас в ящике, госпожа, лежат деньги. Возьмите с собой». Они все ящики перерыли и деньги видели.

С нами жила и бабушка, мамина мама, которой было 78 лет, и дедушка, папин папа, ему было 80 лет. Еще жили мамина сестра и моя двоюродная сестра. Их не взяли, а бабушке и дедушке надо было ехать с нами.

Вещи погрузили в телегу, отца посадили на вещи. Солдат шел следом. Мы шли пешком, второй солдат сопровождал нас. Но вскоре за нами подъехал грузовик, в который всех нас и посадили. И увезли на станцию Калвене. Там отца увели, посадили в один вагон, маму и нас – в другой. Бабушку и дедушку повели обратно. Через некоторое время нас из вагона выпустили и разрешили попрощаться с отцом. Отца тогда я видел в последний раз.

Вскоре привезли людей из соседних волостей. Мы устроились на верхних нарах возле окошка. Была в вагоне дыра, когда мы ходили туда, двое стояли и держали простыню или одеяло, чтобы было не так унижительно.

В Резекне эшелон еще пополнили людьми. Врезалось в память, как несли носилки с человеком, укутанным в белые простыни. Он не шевелился, и его внесли в вагон. Значит, высылали и такого человека, который и шевельнуться не мог... никого не щадили.

Конечная станция, где нас высадили, называлась Клюквенная. Зашли в магазинчик, мама купила леденцов. А завернуть было не во что. Продавщица указала на меня – на мальчике шапка, сыпьте в шапку. Это нас развеселило, с таким мы еще не сталкивались. В дороге кормили. Пшенной кашей и кирпичиками хлеба. Я заметил только, что состав был очень длинный, а впереди три паровоза. На платформе последнего вагона стоял солдат с винтовкой – на случай, если кто-то вздумает бежать. Иногда поезд останавливался, и на несколько минут нас выпускали.

Привезли нас в Манский район, в село Островки. И началась там дизентерия. Мама заболела, но выжила.

*Мы с Харием  
Полевским ходили  
на картофельное  
поле, собирали  
картошку,  
находили и морковь.  
Маленький круглый  
хлебец стоил  
200 рублей...*

Там же умер первый из высланных – Янис Бургелис, двух лет от роду.

Вначале нас разместили в клубе, потом перевели в пустовавший дом, где раньше жили латыши, уехавшие из Латвии еще в 1905 году или даже раньше. Нас было четыре семьи – мы, семья Биерантов с четырьмя дочерьми – Визмой семи лет, Аусмой – пяти лет, Дзидрой – трех лет, Инарой – восьми месяцев. Семья Приеде с четырьмя детьми – тремя девочками и одним мальчиком. Семья головы города Айзпуте Йиргенсонса – мать и сын Илгварс. Соседом был такой Валдис Стабулниекс.

С продуктами было очень и очень трудно. Мы меняли взятые с собой вещи, одежду. Мама пошла работать в колхоз «Красный стрелок», но заработать там ничего нельзя было, потому что хлеб жали серпами.

Я пошел в школу, но русского языка не знал и ничего не понимал. Зимой у меня не было обуви, сами доставали топливо. Зимой с продуктами было очень трудно. Обходились картофельными очистками. Девочки Биеранты отравились, но выжили. Потом семьи, в которых были трудоспособные, – Йиргенсонсы и Стабулниексы – увезли на Север.

В 1943 году нас отправили в другое место – в совхоз Таёжный Сухобузимского района. Поселили в бараке, где было много латышей. Были и русские, судимые.

Трудно было вначале, детям, как иждивенцам, давали 200 граммов хлеба. Были и такие периоды, когда в магазине вообще хлеба не было.

Русские ребята подстрелили сороку, и мама ее сварила. На несколько дней сил хватило.

Летом нас привлекали к работе. Стада были большие, и я пас с 9 лет. Пасли по ночам. Случалось, засыпал, и тогда утром по росным следам бежал скотину отыскивать, не дай Бог потерять.

Зимой пошел в школу, окончил 3-й класс. Надо было идти в 4-й.

Мы с мамой пасли недожных коров, но попадались среди них и дойные. Было молоко, и жилось легче. Брат пас лошадей.

Наступил 1946 год, мы узнали, что дети могут уезжать домой. Первыми уехали старшая сестра и брат. А в августе и мы с младшей сестрой.

Набралось довольно много детей – Аполония Варпиня, Харийс Полевскис, нынешний владелец Талсинской типографии. С ним мы сдружились. В селе Атаманово сели на парходик «Дербент» и приехали в Красноярск. Провожал нас Версис, ко-

торому было 80 лет. Зашел он в чей-то дом, узнал, что идти нам надо в пионерский лагерь. Жили мы там, пока не собрали всех детей.

Кормили нас один раз в день в столовой глухонемых. Мы с Харием Полевским ходили на картофельное поле, собирали картошку, находили и морковь. Маленький круглый хлебец стоил 200 рублей, а деньги мы уже все потратили. Собирались с Харием возвращаться в село. Стоим на пристани, изучаем расписание, подходит латыш, говорит – я шофер. Сказал, чтобы не уезжали, денег он нам даст. Мы ему оставили мамин адрес. Дал он нам денег, и мы дождались поезда. Разместились мы в вагоне, зашел офицер из чека и проследил, чтобы не уехали ребята старше 16 лет. Помню, велели выйти Вере Бурке, Валде Приеде. Но сопровождающая, кажется, Лусе, сказала, чтобы не выходили. И они приехали в Ригу.

В Риге нас ждали автобусы. Помню, приехали в детский дом на улице Кулдигас. За нами никто не приходил, и некоторое время жили мы в детском доме. Я ездил за продуктами и смотрел за грузом. Через некоторое время за нами приехали двоюродные сестры – Марта и Анна Дуксе. Забрали сестру и увезли в Салацкую волость, за мной приехал двоюродный брат Освалдс Пуриньш, и мы поехали в Айнажи, где жила мамаина сестра Элза. Там же я пошел в школу.

По-латышски читал я плохо и пошел снова в 3-й класс. Зато 4-й класс окончил с одними пятерками. Жил я там до 1948 года.

В 1947 году приехала мама, жила у своей сестры в «Вибурги», в Салацкой волости. Я переехал к ней и продолжал учиться в Салацкой школе.

Родителям не разрешили вернуть в Латвию, мой друг Висвалдис Полевскис тоже остался в Сибири со своей матерью. И прожил там до 1957 года, когда вернуться разрешили официально. А маме удалось вернуться в Латвию нелегально. Сначала она жила у папиного брата в Лутрини.

Когда мама была в Рудбаржи, она сказала, что вернулась совсем. Ее пытались уговорить рассказать на собрании, как в России хорошо, как латыши добровольно вступают в колхоз. Мама отказалась и сбежала оттуда.

Двоюродный брат помог ей получить в Латвии паспорт, в котором она изменила имя своего отца. И мы остались жить в Салацгриве.

Я поступил в Айзупский лесной техникум. Брат уже учился там. Мне в техникуме нравилось, но



9 января 1952 года нас с братом вызвал заведующий учебной частью Пелше. Вскоре явился латышский офицер из Кандавы с конвойным, и нас увезли в Кандаву. И посадили в тюремную камеру.

Я в камеру идти не хотел, стал сопротивляться, два милиционера силой пытались втащить, но я был довольно сильный. Брат все-таки уговорил меня зайти в камеру. Примерно через неделю нас отвезли в Ригу, в пересыльную тюрьму. Но начальник тюрьмы принять нас отказался. Посадили нас в трамвай и повезли в чека. Брат хотел сбежать по дороге, но я уговорил его этого не делать. В тюрьме мы встретили маму и сестру, их привезли из Салацгривы. И старшую сестру, которая училась в Валмиерском педагогическом училище.

И всех нас по этапу отправили в Россию. Первая остановка была в Москве. На прогулку нас выводили на крышу, и я попросил у охранника разрешения взглянуть на Москву с крыши. На что он мне ответил: «Здесь пересыльная тюрьма, а не Москва». Посадили нас в «Черную Берту», а меня в карцер, где негде было даже присесть. Я был коренастый, плотный парнишка, и они меня, видно, побаивались.

Посидеть я смог только в вагоне. И вместе с другими заключенными отправили нас в Куйбышев. Побывали в Челябинске, в Новосибирске. Были там и двух-трехлетние дети.

В Красноярске камера была громадная. Подошел ко мне один и просит денег. Отвечаю – я учусь, денег у меня нет. Ночью разрезали наш мешок с вещами, все перерыли, искали. Однажды в камере из досок от нар разожгли костер, варили чай. Но охрана этого не заметила, такая огромная была камера.

Оттуда увезли нас на станцию Камарчага, в село Кияй Манского района. Была там литовская семья Ленцявичюте, три латышские женщины – Циеминя, Алферова и Сканстина. Три года они отсидели в тюрьме за то, что возвратились нелегально. Мама в тюрьме не сидела.

Начал я работать помощником тракториста, потом помощником комбайнера. В феврале отправили меня в Ачинск, на курсы комбайнеров. И дали мне бумагу с фотографией, где было написано – 20 лет каторжных работ за побег. В Ачинске надо было тут же явиться к коменданту и зарегистрироваться.

Окончил курсы, осенью мне дали комбайн. Платили натурой, и мы мололи зерно, была мука, можно было жить.

В 1954 году брат поступил в Красноярске в лесной техникум, чтобы завершить образование. Мы с мамой и сестрой переселились вначале в село Кияй. В 1956 году переехали в Красноярск. В 1957 году я окончил школу. Нас в том же году сняли с учета и выдали нам паспорта.

Я поступил в Красноярский политехнический институт на факультет электрификации промышленных предприятий. Учился до 1959 года, пока знакомая из Риги не прислала письмо, что она договорилась в Рижском политехническом институте, где я смогу продолжить образование.

Брат дал мне денег, я вернулся в Ригу и продолжал занятия в Рижском политехническом... Электростанции и электрические сети. Окончил в 1962 году и поступил работать в Центральные Сети.

Об отце официально узнать ничего не удалось. Только то, что он был в Кировской области. В 1945 году из одного из лагерей вернулся такой Антонс Малиньш... в страшном состоянии – распух, еле ходил. Но постепенно пришел в себя, и мы узнали от него, что там многие умерли.

Когда мы в первый раз вернулись в Латвию, узнали, что бабушка по отцу находится в Кулдигском доме для престарелых. Она писала в Прокуратуру Латвии, и пришел ответ, что «Ваш сын Арвидс Гринбергс умер 13 февраля 1942 года в Кировской области».

Да, мама приехала в 1959 году. Вначале жила у двоюродного брата Алфредса Гайлиса. Брат устроился на работу в Ремонтно-строительную контору. Ему помогли отремонтировать квартиру на улице Палидзибас. И мама жила у брата. А с 1974 года у меня, умерла она в 1982 году в возрасте 80 лет.

Из нашей семьи в Латвию вернулась мама и все дети. Из семьи Биеранте не вернулись младшие девочки, обстоятельства были такие. Стоял вопрос о выживании. Старшие приехали в Латвию, в 52-м году их снова выслали, и они уже не вернулись. Старшая вышла замуж за поволожского немца, она и сейчас живет на Урале. Вторая сестра жила в Таллине. Их мать приехала и поселилась в Лиепеае.

# УЛДИС ГРИНБЕРГС

родился в 1937 году



У отца было хозяйство “Наглас”, это в Кейпене, в то время Кастранская волость. Отец был человек активный, возглавлял молочный завод, был командиром айзсаргов. Он считался большим человеком, поэтому нас и выслали...

Что касается самого момента высылки, то помню только отдельные эпизоды. Было утро, приехала машина. Маме сказали, что она может оставаться в доме с детьми, а отец должен выйти. Отец был недалеко – за рекой (по нашей земле протекала речка), зашел в лес и все оттуда видел. В лесу их было человека три. Когда нас увозили, они вышли на дорогу, навстречу машине. Они могли машину расстрелять, но один из них сказал, что можно перестрелять и семьи.

Как нас привезли в Сунтажи, не очень помню. Запомнилась сама поездка, вагон. Останавливались там, где поблизости не было станций. Помню усыпанные цветами поля, туннель через Урал.

Взяли маму, меня, брата. Абсолютно все вещи остались дома. Никто не мог себе и представить, что такое произойдет. Мама думала – никто ведь не станет с детьми забирать...

Привезли нас в Красноярскую область, в колхоз Макруша. Через деревню протекала речка. Поселили в заброшенном доме. Бандиты выбили все стекла, разрушили школы. Одни руины вокруг.

Женщины своими силами кое-как привели дом в порядок. Были там Карловсы из Сунтажи, Тобисы – семья знаменитого винозаводчика. Все были без мужей. Только женщины и дети. Была матушка Клайпа из Малпилса, Тужа.

Пробыли там недолго. Отправили обратно в Красноярск, из Красноярска в Канск. Это было через год. Толко-

вых рабочих нигде не было, мужчин призвали на войну, не было серьезных людей, которые могли бы работать. В Канске поселили на огромном лесозаводе, там все женщины и работали. Мама делала все – выполняла тяжелые работы и на пилораме, словом, куда пошлют. Делала все, что требовалось на войне, – тарные ящики, еще что-то. Помню, была там такая Галина Ильинична, она сама вызвалась идти на войну, могучая была женщина. Потом она вернулась. Я ходил в детский сад.

С продуктами было ужасно тяжело, особенно во время переездов. Летом маме удавалось кое-что вырастить, приносила домой – было это, когда мы жили в колхозе. Когда перевели нас в Канск, было трудно. Женщинам давали обед, хлеб был по карточкам, а о детях никто и не думал, словно и нет их. Мама приносила мне часть своего обеда.

Те, кто не выдерживал, умирали. Нас спасло то, что мы попали в санаторий. Была там такая доктор Лака, которая эмигрировала из Латвии. Она дружила с мамой, и нас поместили в санаторий. Только благодаря этому мы остались в живых. Пробыли мы там всю зиму. Весной маме стало жить полегче, мы вернулись из санатория. Детей отправили в детский сад, мама получала хлеб. В детском саду кормили. Свободно купить по-прежнему нельзя было ничего, хлеб выдавали по карточкам. Тем, кто работал, еще какие-то вещи выдавали раз в месяц по норме – яичный порошок, еще что-то. А вот конфеты – никто не знал, что это такое.

Попрошайничать не ходили – нечего было, да и не у кого. Помню, в первый год, в Макруше, подружился с местными, были с собой какие-то вещички, меняли на молоко, как-то выкручивались, а в городе не

*Помню, тяжело заболела мама. Единственное средство от тифа посоветовали местные женщины – наловить вшей, раздавить их в хлебе...*

было ничего. Жили в бараке, в большой комнате, семей восемь. С нами жила и супруга полковника Балодиса с детьми. Женщины работали, а мы были предоставлены самим себе.

Умирали многие. В Макруше все ходили «за угол», свирепствовала дизентерия, по цвету можно было определить, кто скоро умрет, – испражнения от крови были красными. Из Макруши развезли нас в разные стороны. Помню только тех, кто был с нами в одной комнате, – Карловсы, Балодисы, Гунарс Тобис, его помню, еще Арнис.

Не забылся и самый страшный голод, сил ходить уже не было. Не могли даже играть – так голодали.

Мама рассказывала – рядом жил какой-то офицер, чья дочка все прыгала да скакала. Нам ничего не хотелось, сидели, словно привязанные, голодали, сил не было никаких.

Помню, была речка под названием Тарайка, по которой сплавливали лес. На другом берегу была тюрьма. Мы переходили речку вброд. Был какой-то приток, за ним находился Краслаг – большая тюрьма. Маленькие мы были, иногда ходили до самого Кана. Из тюремных ворот выехала лошадь, и из телеги выпал труп. Как мы испугались! К ноге трупа была привязана бирка. Ужасно... На той телеге была гора трупов...

Там были Краслаг, Енисейлаг, Юшлаг. И везде были латыши! Некоторые даже жен своих разыскали в Канске, у мамы даже фотографии есть, на которых все вместе сняты. Из лагеря вышел Канбергс и еще один – дали им пару буханок хлеба. Канбергс сказал – не ешь так много, лучше пей воду. Так и случилось – второй мужчина остался на дороге. Канбергс дошел, но через год и он умер. Они все были кожа да кости. Канбергс когда-то был мужчина крупный, весом под 100 килограммов, а совсем ослаб. Позже мама рассказывала, что Юшлаг сровняли с землей, построили на этом месте аэродром. Местные говорят, что в домах, которые стоят в этих местах, людям снятся страшные сны: земля там стонет. То, что мы знаем о Саласпилсе, это просто ноль по сравнению с тем, что было там.

Самый тяжелый период был до нашего поступления в санаторий. Представьте себе: людям есть нечего, и едят они вареные листья деревьев. Весной, когда истаял снег, вышли на картофельное поле искать старую картошку, не сохранилась ли где. Весной начался самый страшный голод. Помню, в Макруше латыши ловили и ели сусликов...

Ловушки доставали у местных. Сусликов было много, мясо казалось вусным... Жили они в норах, туда помещали ловушку, и мяса хватало. И делали это регулярно...

В Канске был настоящий голод, с жизнью там расстались многие. Лекарств не было. Помню, тяжело заболела мама. Единственное средство от тифа посоветовали местные женщины – наловить вшей, раздавить их в хлебе... Но и хлеба не было, они принесли маме хлеба и заставили его глотать.

Латышки были рукодельницы, местные приходили у них учиться. У латышек были туфли, каких местные не видывали, на туфли и на нашу одежду смотрели они, как на марсианскую. Под конец подружились. Недалеко от Красноярска были добровольные латышские колонии, мама туда даже ездила, пела в хоре, и тогда запели все.

Как мама смогла нас вытащить – сама голодная... Ужасно...

Мама работала с утра до вечера, свободного времени почти не было. Когда приходила домой, заходила речь и о том, как жили в Латвии. А мне тогда казалось, что как есть, так и должно быть, – лет мне было мало, и мне, как ребенку, так казалось.

Дети болели детскими болезнями, накатывали они одна за другой, но я не помню, болел ли я.

Приехал я одним из первых эшелонов после войны. Нас, всех малышей, отвезли в Латвию, тех, у кого были родственники, увезли сразу. Мама довезла меня до Красноярска, туда уже приехали за нами из Латвии. Посадили нас в вагон на нары и повезли. В дороге чем-то кормили. В Латвии, в Риге отвезли нас на улицу Сарканармияс, связались с родными, и нас родственники забрали. Доехали до станции Скривери, мамин брат из «Саутини» встречал нас на лошади. В Скривери жил мой крестный Карлис Петерсонс, я вышел, и мы поехали в Кейпени. Это была осень то ли 1946-го, то ли 1947 года.

Мама сказала, что я поеду домой, и надеялась, что и она вскоре последует за мной, что ее отпустят, сказала, что приедет. Поэтому свой отъезд я не воспринял как то, что я «бросил маму». Она была уверена, что и сама скоро будет дома.

Мама продолжала работать. Пока был жив Сталин, о доме нечего было и думать. Когда я уехал, она по-прежнему работала на лесопилке. Потом ее назначили главным поваром в детском саду. Она говорила, что тогда стала жить лучше. Это считался образцовый детский сад, и все хотели, чтобы мама

осталась. Но мама сказала, что она не может не ехать, она мать, и у нее дети.

Приехала мама в 1957-м или в 1958 году – мне надо было идти в армию, мама приехала месяца за два, осенью. Помню, как все было. Мама приехала домой и попросила бабушку сварить бобы с простоквашей. Я был дома.

В доме «Нагли» жили другие, мы были политически неблагонадежными, и мы остались – половину дома занимал мамин брат, дедушка, бабушка и мы мамой – вторую половину. Так мы тогда жили, были колхозные времена.

Когда я приехал в 1947 году, все было еще нормально, еще не было колхозов. И начались колхозные времена. Вступишь в колхоз – ничего путного, опять начинался ад. Бабушка с дедушкой были уже старые, еда была, но ничего толкового. Ходил в школу, жил в интернате, неделю не был дома, давали мне с собой на неделю, чтобы не голодал. Для крестьян колхозные времена были невеселыми. Кое-как окончил школу.

Отец встретиться с нами так и не смог. Когда нас выдали, Сникерис его остановил, отговорил стрелять, сказал – подумай, что будет с семьей... Может быть, доведется встретиться...

Отец пару раз присылал нам в Россию деньги. Когда приехали домой, узнали, что отец был в Алуksне у маминой сестры и моего крестного Вернерса. Это было глухое место. Отец сменил фамилию, стал Грасисом или что-то в этом духе... Жил он в буквальном смысле слова «подвальной жизнью». Муж маминой сестры был агроном. Чека за всем следила, и они меняли место жительства. Когда мы приехали, отец очень скоро умер, у него был диабет в тяжелой форме, лекарств не было. Позже, когда все открылось, когда отец умер, крестного вызвали в чека и спросили, знал ли он, что этот человек Андреис Гринбергс... Не знаю, вскрывали ли тогда могилу отца... но чека его искала.

Когда мы были в интернате, домой несколько раз приезжали чекисты с обыском, в дом, где жили родители. Кто-то пустил слух, что видел отца, а он в это время был давно уже мертв... Мы приехали осенью, а отец умер перед Новым годом. Нам об этом не сказали, чтобы не поползли слухи, так вынуждали поступать обстоятельства. Так вот было... Когда чекисты узнали, что отец умер, мы стали открыто ездить на могилу отца.

Были проблемы со школой. Я хотел учиться в мореходном училище. В Кейпене была такая на-

чальница Аузиня. Она сказала, чтобы я не забыл написать в биографии, что я сын активного фашиста! В училище меня не приняли, там готовили моряков дальнего плавания. Ничего не сказали, просто вернули документы. Ни для кого не было секретом, что я был выслан, и это сопровождало меня повсюду...

Когда мама вернулась, ей было уже немало лет, какое-то время работала в столовой в Кейпене. Надо было ухаживать за бабушкой, было свое небольшое хозяйство. Случалось маме заменять доярку. Тогда это был колхоз имени Судмалиса, вскоре перешли в совхоз «Кейпене».

Мама дожила до 2003 года, брат умер в 2001 году.

Ту жизнь мне даже вспоминать не хочется – по сравнению с тем, как сейчас показывают, какой должна быть нормальная жизнь ребенка... Сердце щемит... Вспоминать не хочется... Тогда и представления не было, какой должна быть нормальная жизнь. Будни и есть будни, так тогда казалось, но представления о том, как должно быть лучше, не было. Казалось тогда, что так и должно быть, это теперь понимаешь, как должно было быть...

В школу я не пошел, брат пошел. Приехали осенью, и мама решила, что мне еще следует отдохнуть. Когда я приехал, было хозяйство, дела шли нормально, пока не начался второй ад – колхозы. Русскому языку дети обучились быстро – за год, совершенно точно. Для детей это не проблема. Когда я приехал из России, мне сказали, что по-латышски я говорю с акцентом. По латышскому языку у меня и отметки были хуже, чем по русскому.

Отец хозяйничал рационально. Хозяйство содержалось образцово, потому его и взяли. У него было много общественных обязанностей, он был директором молочного завода, командиром айзсаргов. У нас были два работника, две работницы, им хорошо платили. Помню, из Англии в Латвию пришли четыре трактора, один достался отцу... Так что сами понимаете...

Предполагали вывезти всю семью. Отец заказал в Резекне автоматическое доильное оборудование, но тут пришли русские. Отец сказал: «Всему конец!». Надо от всего отказываться. Были заготовлены кирпичи для новой теплицы, отец сказал: «Все кончено!». От всего отказались, все остановили, он знал, что хорошего ждать нечего. Так жизнь и прошла. Той жизнью, которой следовало бы жить, жить было невозможно...



## АУСТРА ГРИНФЕЛДЕ

родилась в 1931 году

Отец Рудолфс Гринфелдс родился в 1900 году в «Криевиняс» Дзирциемской волости Тукумского уезда. Брат Аугустс родился 22 марта 1930 года. Дом принадлежал деду, который откупил его у Аланьского имения вместе с 32 гектарами земли. Дом был старый, две комнатки, в другом конце хлев – обычный для Курземе дом. Он был командиром отделения айзсаргов, начальником почтового отделения, бухгалтером в кооперативах. Мама была айзсаргом. Так как дедушка и бабушка были еще живы, у нас было собственное хозяйство – восемь коров, овцы и свиньи. Отец собирался строиться. Возвели новый хлев, строили водонапорную башню, чтобы не носить воду издалека, но ее не закончили. Была одна работница и вначале еще и пастушка. С семи лет стадо стала пасти сама. В 1940 году мы уже в школе почувствовали, что не все ладно, нас заставили вступить в пионеры.

И вот настало 14 июня. Мы пасли стадо. Бабушка пришла за нами часов в одиннадцать, сказала, чтобы пригнали скотину домой. В чем дело, мы не знали. Дома нас уже ждала машина, мама успела запаковать кое-какие вещи. Каждому разрешили взять двадцать килограммов. А что возьмешь – хлеб, шмат мяса и какую-то одежду. Сказали, что через три дня вернемся, так что много брать не надо. Отвезли в волостной дом, там уже была одна семья – Крейцбергсы. Они были довольно богатыми, им принадлежал двухэтажный дом. Посадили всех в машину и отвезли в Тукумс. Там рассортировали по вагонам, сказали, что мужчин и женщин сажать в один вагон нельзя. Женщины остались с детьми. Сказали, чтобы вещи не делили, так как в конце пути все мы встретимся.

В первые дни не кормили, потом стали приносить пшеничную кашу, какой-нибудь суп. Хлеб с собой был, мясо

тоже, этим и питались. Приехали в Красноярск, поселили нас в барак. Вокруг заборы и вышка. Бараки стояли на сваях, вокруг вода. Были деревянные лестницы. Спали все на полу. Представьте себе состояние ребенка, который утром просыпается, а рядом лежит мертвый дяденька. Я никогда так близко мертвого человека не видела... Прожили мы там довольно долго, вероятно, неделю. Потом на баржах по Енисею нас привезли в Галанино – был такой порт. Сошли на берег по трапу. Продуктов больше никаких не давали, если у кого-то были вещи на обмен, доставались или картофеля, или молоко. У нас не было ничего. Мы уезжали на три дня, так что ничего особенного с собой не взяли. Льет дождь, а мы под открытым небом...

В чьей семье была рабочая сила, тех сразу забрали в колхоз. А кто возьмет женщину с двумя детьми? Приехали за нами на телеге и отвезли в центр, в Казачинск. Дальше не поехали, настала ночь. Привели в помещение тюрьмы, а утром отвезли в колхоз. А там река разлилась. Помесили нас в дом к каким-то русским, и хозяева отвели нам, обеим семьям из Дзирциемса, одну комнатку. Во второй семье были мать и два сына. Сыновья были взрослые, ходили в среднюю школу.

И жили мы там до середины лета. Осенью выдали нам немного муки, чтобы испечь хлеб. Мама ходила копать картошку. С русскими детьми мы как-то нашли общий язык. Осенью же всех латышей поселили в одной большой комнате – это был бывший детский сад. Посередине стоял печка, и жило нас там человек двадцать.

Зимой уже нечего было есть. Ходили подбирать очистки, которые выбрасывали русские. У кого еще было что менять, те меняли. Мама ходила в

*Там, где мама работала, валяли валенки, пряли шерсть. Мы, дети, вязали носки для армии. За одну пару получали 400 граммов хлеба.*

центр – а это три-четыре километра – искать работу. Выходила, нашла работу в дубильне. Мы были счастливы. В первый день мама принесла свои 600 граммов и на детей 200 или 400 граммов. Большую часть кирпичика она принесла домой. Работала мама до весны. Весной переселились в районный центр – в Казачинск. Достали комнатку еще с одной семьей из Зентене. У них в Казачинске дочь работала в дубильне. В этом доме были две комнаты, в одной жили немцы с Поволжья, в другой мы, две семьи. Работа у мамы была тяжелая, руки разъедало. Но там можно было что-нибудь украсть, срезать со шкур оставшийся кусочек мяса. Мама тайком бралась дубить и шкуры от частников. За это можно было получить картошку. Это было, конечно, противозаконно. Приходил контроль, открывал большие чаны, пересчитывал шкуры, и если шкур оказывалось больше, за это грозила тюрьма.

В первую зиму в школу я не ходила, школа была в соседнем селе. Когда перебрались в Казачинск, летом собирали землянику, продавали докторам, учителям. Как-то зарабатывали. В школу пошли во вторую осень, но ходили только до морозов, так как надеть было нечего. Валенки тоже не было. Зимой я училась дома. А так как я первый класс уже окончила, то некоторые понятия о математике у меня были. Только русского языка не знали. На уроках русского мы сидели с сыном учительницы из Эглиши. Он, по крайней мере, некоторые слова знал и показывал, как надо писать или что надо делать. Так помаленьку и я чему-то научилась. Книг в школе не было. Один учебник на двоих-троих. Тетрадок тоже не было. Был у меня дружок, один русский мальчик. А так как его мама работала в конторе, дома у него были «брошюры». Он давал и мне, и на этих вот листках мы писали, считали. Такая вот была учеба.

Там я окончила четыре класса. Хуже было то, что я носила косы, а у большинства детей были вши. Когда всех стригли, я не ходила в школу три дня – у меня вшей не было. Расчесывала деревянной расческой, и вшей почему-то не было. Мыла не было, из золы готовили щелок, им и мылись. Если мы год заканчивали хорошо, нам на класс выдавали кусочек мыла, и мы всем коллективом шли в баню мыться.

С одеждой дела обстояли очень плачевно. Мама, когда дубила шкуры, с овечьих шкур вычесывала шерсть и приносила домой. Мы учились прясть, чтобы можно было связать кофточку, носки.

Там, где мама работала, валяли валенки, пряли шерсть. Мы, дети, вязали носки для армии. За одну

пару получали 400 граммов хлеба. Одну пару в день связать не удавалось, за неделю получалось две пары.

Там мы и прожили все эти годы. Работа у мамы была тяжелая, хлеба не хватало. Было немного овощей, но на зиму было маловато. Тайком мы ходили за три километра в поле, собирали колосья. Делать это запрещалось – хотя они валялись на земле, подбирать не разрешали. Собрали мы шестнадцать килограммов. На мельнице смололи, и так у нас появилось немного муки. Мы, дети, осенью перекапывали огороды местным, и если находили картофелину или морковку, то могли взять ее себе.

В 1946 году русские стали возвращаться с войны. А нищета стала еще страшнее. В магазинах вообще ничего не было. Они не понимали: за что же мы воюем? Мы же видели, как живут в других местах.

У одной девочки отец вернулся без ушей, без носа, и так и ходил. Они видели Балтию, видели, как там живут и как жили мы. Домой возвращались калеки.

Через докторшу Кирилевицу из Тукумса мы узнали, что в Красноярске работает комиссия, которая собирает детей для отправки в Латвию. Это было незаконно, никто нам об этом не сообщил. На проходящие мимо машины, которые возили зерно, мешки укладывали так, чтобы под них можно было подлезть. И за хорошие деньги нас отвезли. За каждого из нас мама заплатила по 200 рублей.

Две недели мы жили в Красноярске в детском доме для глухонемых, пока не набралось более ста детей. Иногда ходили в Красноярск, деньги у нас были, могли что-нибудь купить. Там мы не голодали. Мама в качестве премии получила кусок ткани, из которой пошила нам одежду. Брату пиджак, мне юбку, а так как она работала в дубильне, дали ей и кожаных обрезков. Она пошила нам тапочки из кожи. Мы, по крайней мере, были одеты, и что-то было на ногах. Мы в те времена были самые чистые. Ехали с нами и шивые дети, и в обносках. Всю дорогу обходились кусочками хлеба и мороженой рыбой. Вот и вся еда, но мы были рады и этому. Мы не жалели, что оставили маму.

В Москве нас прицепили к рижскому поезду, в Риге встречали машины. Вероятно, это был сентябрь. В детском доме на улице Куддигас встретили нас накрытые столы, белый хлеб с вареньем и молоко. Мы остались там чуть ли не последними. Бабушке было под семьдесят. Она могла взять нас на воспитание, но она нас усыновила-удочерила. Получила из волости справку, что в состоянии нас содержать. Хозяйство

у бабушки было невеликое, да и что может в деревне сделать одинокая семидесятилетняя женщина? Жил там папин двоюродный брат, он ей помогал. Поля не засеяны, но самим на пропитание хватало. Бабушка продала зерно, корову и послала маме денег. Мы пошли в школу. С учебой было поначалу трудно, до этого мы учились на русском языке. Читать я умела, 1-й класс окончила еще в Латвии. Окончила 5-й, 6-й класс, 7-й не успела, так как грянуло 25 марта.

Мама приехала в 1947 году незаконно, и ее не прописывали. Паспорт в Тукумсе отобрали, все бумаги отобрали. Жила нелегально, училась шить, и этим зарабатывала. У нас было три коровы. Мы жили у бабушки и обходились тем, что давало хозяйство. Мама была дома, было веселее.

В марте узнали, что снова собираются вывозить. Но куда бежать, где прятаться? После того, как мы одну ночь провели в лесу, мама сказала – хватит, прятаться в лесу она не станет. Узнали, что из волости будут вывозить завтра. Там жила мамина сестра, она сказала, что наши фамилии значатся в списках. Бабушку мы похоронили, она умерла в конце февраля. Хлеб увезли, коров увели, одну, кажется, оставили, и еще лошадь. Причислили нас к кулакам, так как нам принадлежали 30 гектаров земли. И взяли нас. А до этого приходили разведать, все высматривали, все спрашивали, есть ли у нас лошадь, есть ли телега. Мама разобрала швейную машинку, взяла с собой. Все происходило как в первый раз. Двенадцать семей привезли в волостной дом. Мамина сестра наварила целое ведро с клецками, принесла, всех накормила. Из седьмого класса в нашей школе забрали пятерых ребят. В классе нас было пятнадцать – на выпускной вечер осталось десять. Семья лавочника откупилась – их забрали, а вечером отпустили. Свезили людей два дня. В последний день взяли наших соседей, возчиков, выполнявших гужевою повинность, взяли всех. У них был калека ребенок, взяли и его. На машинах отвезли в Тукумс, посадили в вагоны. Мужчин не отделили. Одного из соседей принесли на носилках, в дороге он умер. Вагоны были такие же, даже дыра в полу такая же. И кормили, как в первый раз, – каша и вода. В вагоне была чугунная печка – топили, потому что было холодно.

В Томске высадили, где-то на берегу Оби, где был лагерь для заключенных. Погнали в баню, идти пришлось сквозь длинные комнаты, где сидела милиция, и надо было подписываться, что нас добровольно и на всю жизнь переселили в Сибирь. Раздели догола, загнали в баню. В Томске свирепствовала дизенте-

рия. Жили там до мая, пока не сошел лед. Посадили на баржу и по Оби до Старой Шегарки. Там людей сортировали: тех, кто что-то умел, оставили в центре, в Шегарке, тех, кто ничего не умел, развезли по колхозам. Печники, были и ремесленники, мама умела шить, вызвалась в портнихи. Поселили нас в клубе, мы остались в центре, а русские были недовольны: как долго они будут в клубе жить? Мы лишены культуры.

Между Старой Шегаркой и центром простиралось болото. Люди говорили, что дорогу через болото в 1941 году мостили лагерники своими костями. Старую Шегарку каждую весну затапливало, и дорога тонула. Нас выселили на край болота и велели рыть землянки. В одной высланной семье был и глава семьи, у него оказался топор и пила. Обошли окрестности, увидели яму. Значит, не надо копать. Напилили на болоте березу, накрыли яму, внутрь поставили железную бочку – это у нас была печка. Смастерили из березовых жердей лавки, вместо кроватей. Весной все оказалось под водой. Я тогда страшно заболела, у меня было воспаление мозга, меня наполовину парализовало. В ту осень в школу пойти я уже не смогла.

Летом надо было ходить на работу. Строили новую больницу. Фундамент не заливали, все строили на сваях. Я знала, что с головой ростом я полтора метра, глубже копать не надо было. Отработала там, пока не начались занятия в школе. Пошла в 7-й класс, в русскую школу. Опять весь 7-й класс с самого начала, язык с самого начала.

Как-то справилась, семилетку окончила. Пошла в десятилетку. Летом, конечно, работала. За среднюю школу надо было платить 125 рублей. На уроки физкультуры не ходила, снова не было валенок. Разрешали остаться в классе. Учительница была из Ленинграда, выслали ее в 1941 году. Очень хорошая, сумела сплотить класс. Никто не имел права смеяться, если кто-нибудь произносил что-то неправильно. В классе был один бессараб и мы, четыре латыша. Мы, две девочки и один мальчик, школу окончили, один из нас из школы ушел, потому что пришлось работать, иначе не на что было жить.

Шел 1953 год, и бессараб осмелился спросить у учительницы: «Теперь на нас нападут американцы, потому что Сталин умер?» Об этом учительница никому не сказала.

Когда Сталин умер, всем надо было плакать, – хочешь ты или не хочешь. И как раз в день моих именин! Ко мне пришли друзья. Брат работал на пилораме, он принес домой бревна и построил домик.

Всего ничего – комната и кухня. Я сказала друзьям: «Отметим в другой раз, не сегодня». Все расстроились. Но главное, экзамен по истории сдавали уже свободнее. Однако уехать все равно никуда не могли. Я хотела учиться на фармацевта, отправила в Томск бумаги, пришел ответ, что из-за конкурса не принимают. Какой там конкурс! Был приказ не принимать.

Лето отжили. Выделили нам в лесу кусок земли – можно было выкорчевать кусты, посадить огород. Осенью учительница устроила меня преподавать в вечернюю школу. Там я проработала только до Нового года, после чего меня отправили на другой берег Оби в село замещать учительницу. Село было небольшое, всего двадцать домов, начальная школа. Вообще-то было всего три класса. Больше детей не набралось. Отработала там год. Потом послали меня в другую школу, во второй и четвертый классы. В последний год работала в школе учительницей немецкого языка километрах в пятнадцати от Шегарки. В Томске я окончила курсы немецкого языка.

В 1953 году брат женился, ушел жить к жене, вместе с тестем построил дом. Мы с мамой остались в этой будке. А так как я работала в школе, с 1 января

1956 года меня сняли с учета, маму тоже. Мы были свободны. Брата не сняли, так как он жил не в нашей семье. Он приехал года через полтора. Его не отпустили, хотели из него сделать чекиста. Он все время скрывал это от нас, не говорил, почему не едет домой. За месяц до смерти рассказал. Домой вернулся только в 1958 году.

Когда нас с мамой отпустили, я отработала в школе до конца года, продали мы дом и приехали домой. Приехали, пошли в свой дом, там, конечно, жили другие. Нас не прописали. Сказали – вступайте в колхоз, тогда пропишем. Но для чего же училась? Не для того же, чтобы вступить в колхоз. Предложили выкупить свой собственный дом, так как бабушка умерла, дом считался выморочным имуществом. Но за что выкупить? Денег ведь не было. Мамина сестра жила в Риге, устроила меня в аптеку санитаркой. Мама нашла работу в Слоке, в больнице, тоже санитаркой. Получили квартиру в новом доме, но дом еще не приняли, и нас не прописали. Так и ездила я без прописки. И месячный билет без прописки не купить. Все было. Отец прожил в Вятлаге до 1942 года. Умер в мае – желудок и воспаление мозга.



*Аустра и Аугуст с мамой Амилдой в Казачинске. Сибирь*





## ДЗИДРА ГРИНХОФА

родилась в 1926 году

У нас был хутор, хозяйство... Все мы работали, у каждого в хозяйстве были свои обязанности, никогда нас не баловали, хотя были мы хозяйские дети и семья считалась обеспеченной.

Мой отец трудился больше, чем любой работник, потому что никакой работник ничего не делал, если не работал хозяин. Я пасла скотину, мама трудилась в поле и дома, заботилась, чтобы все были сыты. Не знаю, я, вероятно, так не сумела бы, но мама все успевала.

У нас было старое хозяйство, дед мой был лесничим. Потом его участок вырубали, и на этом месте он создал хозяйство. Государство ему еще добавило земли, так и возникло наше хозяйство.

В 1940 году, когда вошли русские, мы слышали страшный шум. Но дом стоял за лесом, и мы ничего не видели, только потом узнали, что вошли русские танки.

В марте 1941 года к нам в дом вошли четверо или пятеро мужчин и с такой злобой и вызовом сказали, что дом наш национализирован и отец ничего другого не заслужил, как только расстрела. За что и почему? Мы, конечно, испугались. Пошли, описали весь скот, все имущество. Не разрешили подходить к радиоаппарату и к телефону, но каким-то образом о случившемся узнали. Пришла сестра отца, которая жила поблизости, и соседи. И мы переселились в дом папиной сестры. Можно было взять кое-какую мебель и одежду.

И в «Карклес крогс» жили мы до 14 июня. Отцу предложили в собственном доме выполнять обязанности конюха. Он очень любил лошадей и согласился трудиться конюхом в собственном доме. Мама иногда

приходила к нему, приносила поесть, иной раз оставалась и на ночь.

14 июня отца и мать забрали в их собственном доме, в «Шуйки», и примерно в половине пятого утра они приехали в «Карклес крогс» за нами. Мама вошла, за ней вооруженные винтовками со штыком мужчины. Как я перепугалась! Мама сказала: «Вставай, дитя, нас увозят».

Солдат ходил за мамой следом и только подгонял: «Быстрее, быстрее!» Комиссар сказал, чтобы надели на себя что-нибудь из теплых вещей, взяли подушки и одеяла.

Отец сидел за кухонным столом со связанными руками. По обе стороны стояли солдаты со штыками, и на сборы нам дали двадцать минут. Посадили в грузовик, поехали к соседу, в «Лиелспалвы». Там взяли только жену с двумя детьми – двухлетнего мальчика и четырехлетнюю девочку, забрали и свекровь, так как сам хозяин сбежал. В Маткуле забрали третью семью – Друбазов. Муж был командиром айзсаргов, но и там молодые мужчины сбежали, так что взяли только женщину с детьми и свекра.

Отвезли нас в Тукумс. Отца тут же увели, мы даже проститься не успели. Затолкали в вагон, и все. Через некоторое время и нас посадили в телячий вагон с нарами в два этажа с каждого конца, на которых можно было спать.

Всю ночь простояли в Тукумсе. Людей все подвозили и подвозили. Наутро мама обратилась к охране, попросила возможность увидеться с отцом,

у которого остались все деньги. Не разрешили. Мама потом видела, как солдат шел с пачкой денег, но нам ничего не досталось. Из еды с собой у нас был только каравай хлеба и немного копченого мяса.

*Мама ходила на работу, брала с собой и меня. Зерно надо было перелопачивать – перекидывать из одного угла сарая в другой. Тяжелое оно, да и пыль от него какая!*

Вечером поехали. Вначале в поезде был и вагон с мужчинами, когда переезжали границу, в эшелоне было 99 вагонов. А вагона с мужчинами уже не было. Ехали мы в последнем вагоне, и на Урале, где дорога изгибалась, можно было все вагоны пересчитать.

Не однажды останавливались на станциях, и сквозь щель видели, что навстречу едут эшелоны с солдатами и вооружением. На станциях можно было достать кипяток и иногда нам давали кирпичик хлеба и какую-нибудь кашу. Ходили получать в сопровождении охраны.

Когда переехали границу, сестра заболела. У нее поднялась температура, очень высокая. Сестра бредила, а мама в сопровождении солдата ходила за кипятком. Там она встретила женщину из соседнего вагона и сказала, что дочь ее заболела. Эта женщина принесла лекарство, и сестра поправилась.

Привезли нас в Красноярск, на самую окраину, завели в огромные сараи на сваях. Из вагона нас высадили под открытое небо, многие промокли. Но нас уже успели завести в сарай. Пробыли мы там дня три, еды никакой не давали. Потом стали распределять по группам. Кого-то увезли поездом, но нам выпало «счастье» плыть по Енисею. И чудо, что мы тогда не утонули.

С берега была перекинута узкая-узкая доска, по ней надо было взойти на баржу. Шла и думала – сейчас свалюсь! Сестре было 9 лет, она стояла на берегу с корзиночкой, там был хлеб, и она никак не могла ступить на доску. Тогда один солдат сбежал на берег, взял ее за воротник и перевел по этой досточке.

Утром отчалили, а вечером нас высадили в Юксеево. Всю дорогу мне было плохо. Внизу, в трюме, сидя на углях, я еле справлялась с рвотой – у меня началась морская болезнь.

А наверху, на палубе все заволновались – мы начали тонуть. Сзади к нашей барже была прикреплена еще одна, груженная углем, и там образовалась течь. И мы стали тонуть. А буксир был впереди нашей баржи. И кто-то на барже с углем сорвал с себя красную рубашку и стал ею размахивать, стал кричать. На буксире заметили и пристали к берегу. Каким-то образом баржу с углем спасли.

Мы остались живы, но люди страшно перепугались – русские в поселке под Енисеем кому-то рассказывали, что русских кулаков топили в Енисее. И все думали, что нас тоже привезли, чтобы утопить.



*Дзидра за работой в лесу. Сибирь*

Вечером нас высадили в Юксеево под открытым небом. И в первый раз мы поняли, что такое мошка. На берег высыпали местные посмотреть на нас, а мы удивлялись – что за сетки у них на голове? От мошки не было нигде спасения.

На следующий день началась работоторговля. Работники мы были не ахти какие – мне было 15, сестре 9 лет, мама тоже была не очень-то молодая.

На берегу Енисея была контора «Заготзерно». Огромные сараи, в которых свозили из колхозов хлеб. Там мы и остались, у одной русской женщины в доме нам предоставили угол возле плиты, где мы могли спать.

Мама ходила на работу, брала с собой и меня. Зерно надо было перелопачивать – перекидывать из одного угла сарая в другой. Тяжелое оно, да и пыль от него какая! Дышать было нечем, приходилось все время бегать к дверям, глотнуть воздуха. Работали восемь часов, полчаса – обеденный перерыв.

В магазине можно было купить хлеб, давали еще какой-то суп. Работали там и русские, женщины на тачках перевозили зерно из одного сарая в другой. Когда зерно загружали в баржи транспортом, надо было кучу эту разровнять по всей барже. Там приходилось работать по 12 часов, жив ты или мертв. Но там платили, и мама пошла работать на баржу.

Через месяц нас отправили в колхоз. Это было большое село – колхоз Межово в Большемуртинском районе. Работали в поле, обрывали горох руками. Горох можно было есть, на обед давали го-



*Дзидра с матерью Анитой в Сибири*

роховый суп. В колхозе тоже пекли хлеб, но когда урожай убрали, не было абсолютно ничего – уже не кормили, да и мы не заработали ничего. Нам сказали, что мы больше проели, чем заработали.

И мы понесли менять одежду. На картофелину, на молоко... Но у нас ничего особенного не было. Чуть позже мама устроилась работать на какой-то зерновой склад, там можно было понатаскать немного зерна, немного гороха...

В феврале всех нас собрали и повезли в Красноярск, оттуда еще 500 километров на восток. Высадили на станции Тинская. Усадили в телегу и повезли за 45 километров – в поселок Новостройка, что в самом лесу. И снарядили на подсочку. Ходили в лес и готовили деревья для подсочки будущим летом. Давали 800 граммов хлеба и какой-нибудь суп, потом стали выдавать 500 граммов, а суп из воды и черемши, больше ничего. А тем, кто не работал, и детям давали 200 граммов. Весной мужчин и женщин, что были покрепче, увезли на Крайний Север. Попробовали мы посадить несколько грядок, но не знали, что получится. Ведь как было – подойдет, собирайся, поехали, и уезжали мы еще дальше... Да, еще осенью собрали молодых женщин и увезли на Дальний Восток. Было это осенью 1942 года.

Так мы там жили-поживали. Голод был страшный. Вся одежду, до последнего, обменяли. На ноги надевать было нечего. Был уже мороз, а мы с мамой ходили в лес босиком.

Хлеба нам давали по 500 граммов. И мама делала в буханке насечки, до какого места можно было

отрезать, потому что сразу выдавали двухдневную норму. Никогда мы не были сыты... А буханку подвешивали под потолок.

Однажды температура упала до минус 40 градусов, и начальник разрешил не выходить на работу. Но сказал, что можно пойти в Заводовку, там нам дадут кое-что из еды. Я пошла и дали мне турнепсы. И отморозила нос.

Были у нас чугунки, и утром мама сварила мороженый турнепс, и мы ели его с кусочками хлеба. Со школой тоже было плохо. Во время войны в школу не ходили. Там, где мы жили, школы не было. В Латвии я окончила шесть классов. А здесь до школы было 25 километров, да и на хлеб зарабатывать надо было, и в школу я уже не пошла.

В 1946 году сестру мы отправили домой. Стали собираться и мы – надо бежать домой. Ведь отпустить нас никто не отпускал. Но некоторых, кто собрался бежать, арестовали и отправили в лагерь. Вот и мы не стали бежать, а через пять лет сестру привезли обратно...

После войны стало лучше, можно было достать хлеб. И мы работали в лесу. Зарабатывали больше, чем колхозники, нам платили. Только купить все равно было нечего...

Когда нас освободили, никто домой сразу не побежал, мы тут уже обжились. Понемногу стали от всего освобождаться.

Приехали мы только в 1959 году, так как у нас с сестрой в справках, взамен которых нам выдавали паспорт, были вписаны неверные имена. Сестру называли Дайной, а Зентнитне совсем уж что-то невиданное... Пришлось писать в Латвию, просить, чтобы нам выслали свидетельства о рождении. Прошел год, пока мы этих бумаг дождались. И только тогда мы получили паспорта, где были записаны наши настоящие имена.

С тех пор, как отца увели, о нем мы ничего не знали. Когда репрессированные могли уже интересоваться своим имуществом, причиной ссылки, я попросила и справку об отце. И узнала, что он был в лагере под номером семь и умер 30 ноября 1941 года.

До начала 90-х годов мы ничего не знали.

Когда в 1959 году вернулись, в свой дом попасть не могли, жили там другие люди, хотя дом был страшно запущен. Когда приехали в Маткуле, на нас все смотрели и удивлялись – они что, домой приехали?! Работу достать было трудно, потому что никто нас здесь не ждал.

# ЯУТРИТЕ ГРИНХОФА (ЛИХОЛАТЕ)

родилась в 1931 году



Звать меня Яутрите Гринхофа. Родилась я 27 июля 1931 года на хуторе «Шуйкас» в Маткульской волости.

Ночью, около двух часов, мама меня, полудетую, подняла. Когда я открыла глаза, впервые в жизни увидела, что у детской кроватки стоят двое со штыками. Не помню, закричала я от страха или нет, но испугалась ужасно. Мама сказала: «Вставай, детка! Нам надо уезжать». От волнения толком не могла одеться, мама мне помогала. Чужаки ходили по комнате и кричали: «Быстрее! Быстрее!» Вышла в другую комнату, смотрю – у папы руки сзади связаны. Не помню, стоял он или сидел. Один длинный сорвал с постели простыню и стал в нее закидывать одеяло и подушку, маме велел нас одеть потеплее. И мама надела на меня зимнее пальтишко.

Посадили нас в грузовик, и поехали мы на другие хутора. Из Маткуле вывезли три семьи.

Привезли нас к Граудиньшам, их тоже взяли.

Потом повезли в Тукумс, на станцию. Там отца затолкали в другой вагон, и больше мы его не видели. Нас посадили в другой вагон. Деньги остались у папы, и уехали мы без копейки. На станциях те, у кого были деньги, могли что-то купить – русские продавали молоко, еще что-то. А мы не могли.

Ехать было тяжело. Приходилось обходиться тем, что было. Вагоны были набиты битком, было жарко, и еще в Тукумсе я заболела. А когда очнулась, мы были уже далеко. Все это время у меня была высокая температура, я была без сознания и ничего не знаю. Очнулась я уже далеко в России, смогла подняться. Помню, увидела сон, что отец дает нам деньги. Но это был только сон.

На станциях разрешали сходить за водой и давали, кажется, какую-то кашу. Но помню смутно. Мама пошла за водой и пожаловалась какой-то женщине, что у нее заболел ребенок. Женщина обещала в следующий раз дать лекарство, и дала. Я выздоровела, но пока ехали, сильно болела.

Как в Тукумсе нас запихнули в вагон, так только в Красноярске выпустили и запихнули в какие-то сараи, где раньше делали суда. Внизу была вода. Двое суток мы там жили, после чего посадили нас на баржи. На берегу темно, и только на барже горела одна лампочка. А досточка такая узенькая и под ногами сильно прогибалась! Мама уже несколько раз носила вещи, и солдаты не разрешили ей больше сходить на берег, и я осталась на берегу одна, мне было страшно идти по этой досточке. Но попадаются и хорошие люди. Какой-то солдат схватил меня за воротник моего зимнего пальто и чуть ли не внес на баржу. Это было ужасно. На всю жизнь запомнилось.

К вечеру нас высадили на берег. И набросились на нас комары да мошка – такие малюсенькие мушки. Потом нас поделили, жить надо было у русских. В одной комнатухе выделили нам место в углу. А у русских и у самих была всего одна эта комната. Так все вместе мы и жили.

На берегу Енисея были большие склады зерна, к которым причаливали баржи. И мама там работала. Село это называлось Юксеево, там мама заработала немного денег. Но мы жили там недолго.

Русские и сами жили очень бедно.

У хозяйки был сундук из-под приданого, он служил ей столом. Когда она его открыла, там нашлось всего-то несколько жалких тряпок. А я думала, что в сундуке полно красивых вещей.

*Русские и сами жили очень бедно. У хозяйки был сундук из-под приданого, он служил ей столом. Когда она его открыла, там нашлось всего-то несколько жалких тряпок.*



*Сибирское село Новостройка*

Мне строго-настрого было наказано, чтобы я не трогала чужих вещей, чтобы сидела только в нашем углу. А там и трогать было нечего – две железные кровати, покрытые самодельными кружевными покрывалами, штук десять подушек, одна другой меньше. Никакого другого богатства у них не было.

Мне было, кажется, 12 лет, когда мама меня устроила собирать смолу. Тогда и я получала 500 граммов хлеба. Мама тоже собирала смолу и иногда, если она помогала мне выполнить план, я получала 700 граммов в день.

Зимой мы с Имантсом Штелпсом ходили пилить березу. Чтобы содрать с дерева бересту и сплести лапти, береза должна была быть толщиной с ведро и береста гладкой. Мы с Имантсом были одного возраста – дети. Мы знать не знали, в какую сторону упадет дерево. Пропилили как будто, а дерево стоит как стояло. А куда оно упадет, мы не знали. Разбежались, каждый в свою сторону. Видно, Бог нас хранил, что нас не пришибло. И такой случай был.

В русскую школу я ходила мало, кажется, всего половину зимы, я тогда была в детском доме, и оттуда меня забрали крестный и крестная из Маткуле.

Это было в 1946 году? В Красноярске была комиссия из Риги, которая увозила домой сирот. Мама у меня была, но в Красноярске нам не отказали. И привезли в детский дом. Мы с одной девочкой бегом бежали 50 километров, чтобы в Тинской попасть на поезд в Красноярск. Днем идти нельзя было, охранники могли поймать. Я и Бирута Мелде-

ре, она, кажется, живет в Тукумсе. Добежали, и там должны были встретить латышку Скую, она должна была купить нам билеты в Красноярск. Сами-то мы купить не могли. Договорились с каким-то русским парнем, который посадил нас в поезд. Но в поезде было столько народу, что мы некоторое время ехали на подножке и только потом попали в вагон. Но нам так хотелось уехать – надо держаться! И мы не упали. В Красноярске нашли комиссию, и нас привезли в Ригу.

В Риге отвезли в детский дом. Там был очень приветливый директор, он выдал нам обувь и одежду. Сообщили родным, за мной приехал крестный из Маткуле.

Жила я в Маткуле, ходила в местную школу. Мне было, вероятно, лет 14 или 15, когда я пошла в 3-й класс, окончила семь классов. Они тоже жили небогато, и крестный сказал, что содержать меня больше не может. У них у самих было двое детей, они тоже ходили в школу. И я стала работать в колхозе, а 23 сентября 1952 года снова приехала машина со штыками, меня снова арестовали и отправили в Сибирь; сказали мне, что приехала я незаконно.

Меня спросили, хочу ли я обратно к матери, я ответила – конечно и назвала адрес.

Я думала, что меня отправят поездом, но меня отвели в тюрьму. Привезли в Земите, а там взяли еще такую Айну Аузу. В прихожей Земитского клуба я простояла часа четыре, и с обеих сторон стояли штыки, так как Анну искали долго.

И обеих нас отвезли в Кандавскую тюрьму, переночевали мы в подвале, оттуда переправили в Центральную тюрьму. Держали недолго, отправили в пересыльную тюрьму. Ночью повели в поезд с собаками и штыками как не знаю каких преступников. В поезд надо было быстро запрыгнуть, иначе собаки хватили за ноги. Разве это человеческая жизнь?

Когда меня увезли второй раз, надежды на возвращение в Латвию никакой уже не было. Я встретила своего друга, и мы поженились. И не жалею об этом.

Когда доехали до цели, «стрелков» не было, и нас повезли обратно в Новосибирск и в тот же день вечером на станцию в Нижнеингашск. Там встречали «стрелки». До мамы было 50 или 60 километров, но в Сибири это не расстояние. Бежать там было некуда, и нас отпустили. Мы уже были рады, что кончились наши мучения.

Я пошла работать в лес. Я, считай, была взрослая. В ту зиму нас из Новостройки перевезли

в Атагаш, в другое лесничество. Больше прежнего и побогаче. Картошку выращивали сами, за работу в лесу платили, хлеба можно было купить, сколько хочешь. Были и другие продукты.

Почему вы решили, что в Латвию уже не вернуться? Человек ведь впадает в апатию. Приедешь, поживешь пару лет, а тебя снова вышлют. Из русских когтей не вырваться, тебя все одно найдут. Жалко было – здесь оставались друзья, знакомые. Хотелось вернуться, но чего хотеть, если знаешь, что жить все равно не дадут. Такова жизнь.

И тут неожиданно в 1956 году пришли документы, что латыши могут получить паспорта. Если у тебя есть паспорт, значит, ты человек, если паспорта нет – ты зверь. У нас с сестрой документы были неправильные – вписаны не те имена. Написали в Ригу, чтобы прислали правильные документы. На это потребовалась уйма времени. И я была замужем. В то время у украинцев тоже еще не было документов. И в Латвию мы приехали только в 1959 году.

Здесь жизнь тоже была не очень-то радостной. Мы думали, что нас примут в Маткуле, мы же были оттуда. Но нас даже колхоз отказался взять на работу. И муж мой тогда еще по-латышски не говорил, но понять и он понял.

Уехали на Украину, но там жили еще беднее, чем в Латвии, но и обратно в Сибирь уезжать не хотели.

У Скайдрите Ругумы в Земите оставалась бабушка, а в Сибири мы со Скайдрите жили вместе. Поехали мы в Земите и рассказали, что жить нам негде. А там председателем колхоза был украинец Лещук. И муж Скайдрите и мой муж поговорили с председателем. Он нас принял, и все эти годы мы прожили в Земите.

Пять лет доила коров, 17 лет ухаживала за телятами и в конце работала дневным сторожем животноводческого комплекса. Муж окончил курсы трактористов, всю жизнь проработал в колхозе на тракторе. И в 1981 году мы купили этот вот дом.



*Яутрите со старшей сестрой Дзидрой в Сибири*



## БЕАТЕ ГРИШАНЕ (ЙОНУША)

родилась в 1928 году

Жили мы в Даугавпилсе, но родилась я в Риге. Отец был врачом – хирургом, мама по профессии инженер-химик. У меня есть еще две сестры – Лигия и Регина. Старшие сестры в Даугавпилсе учились в школе. Мне было восемь лет. Отец, как всегда, много работал. Мама в последние годы тоже работала, под Даугавпилсом – в 10 километрах – жили бабушка с дедушкой, летом мы там отдыхали. Ходили по грибы, по ягоды, зимой ходили на каток, учились. Наступил 1941 год. Мы были в деревне, когда позвонила мама, дедушка запряг лошадь и повез нас, всех трех, в Даугавпилс. В Даугавпилсе уже были упакованы вещи, и мы могли отправляться в дальний путь. Мама ничего особенного не говорила, папа тоже.

Мама сказала, что надо ехать.

Куда, она и сама не знала. Я даже не помню, как папа направился в другой вагон, взял ли он свой чемодан. Мы даже, кажется, не попрощались. Мы вошли в вагон, забрались на верхние нары, устроились справа у самого окошка. Смотрели в окно, навстречу шли воинские эшелоны. Мы не видели больше и вагона, в котором ехал отец, мужчин отцепили или они ехали другим поездом – этого я тоже не могу сказать.

Сначала еды не давали, потом стали кормить пшенной кашей – красной почему-то, видно, полита она была томатным соусом. Открыли двери, дали воды. Сейчас я, возможно, восприняла бы все иначе, но тогда я была ребенок. В вагоне я заболела. Мама говорила, что молилась Богу, чтобы меня не высадили, чтобы охрана не узнала, что я больна.

Мне кажется, везли нас до Канска – это за Красноярском. Потом погрузили всех в машины и привезли в

Тасеево. Там и высадили. Местные приняли наши семьи. Нас поселили в маленькой комнате, мама расстелила на полу одеяла, и вчетвером мы там и спали. Мама работала в лесу, я тоже ходила с ней, помогала. Они пилила чурки, потому что раньше машины работали на них.

Не хочу гневить Бога – мы не голодали. Труднее стало, когда жили без мамы. Сначала была какая-то лишняя одежда, которую можно было продать, – рубашка или простыня. Потом мы перешли жить в новую квартиру, так как местные воровали. Мама сказала: красный платок на шее, а все же воруеть. Наступило Рождество, за мамой пришли и арестовали. И остались мы втроем. Мне не было еще 14 лет, сестре чуть больше 11, а младшей всего шесть лет. И тогда нас взял колхоз, и не как сирот – нас в детский дом не отдали, они называли нас беспризорниками. Мы ходили на ферму за молоком, давали нам картошку, хлеб. И местные подкармливали. Так мы и жили. Маму взяли за то высказывание, что ей не нравилось, то и говорила, и этого было достаточно. Мы долго не знали, где мама. Она была в лагере, восточнее Канска, станции три. Я уже была большая. Года через три я съездила к ней один раз. Билеты продавали только до следующей станции, я проехала до третьей. И приехала к маме. Местные подсказали, где поезд замедляет ход, – я должна была прыгать. Так я и сделала и направилась к погребам, где была назначена наша с мамой встреча. Виделись мы не больше пяти минут – кто-то

сказал, что я приехала; маму взяли и увели. На этом наша встреча закончилась.

Потом она писала, что сидела в карцере. Через некоторое время я снова отправилась на станцию.

*Мама сказала:  
красный платок  
на шее, а все же  
воруеть. Наступило  
Рождество, за  
мамой пришли  
и арестовали.  
И остались мы  
втроем.*

Попросила, чтобы мне взяли билет до Канска, и люди взяли. Ни кто я, ни куда я собираюсь они не знали и взяли билет. И ночью я приехала в Канск. Помню, все люди куда-то шли в темноте, я с ними, потом мы ночевали в темном подвале, я забилась в темный уголок и заснула. Утром пыталась уехать дальше. Не дай Бог, чтобы дети мои, внуки мои когда-нибудь так ездили!

Примерно через год приехала жена папиного брата с моими двоюродными братом и сестрой, но местной власти не понравилось, что приехали и взрослые, и их отправили в Игарку. Потом из Игарки они перебрались в Красноярск.

Когда я стала старше, надо было идти в колхоз. Приходилось пилить дрова, зимой молотить. Днем молотили женщины, у которых дома были маленькие дети, в ночную смену – девчонки, ребята, у кого не было детей.

Молотили на молотилке. Мы должны были подносить снопы, убирать полову. Мы подносили снопы, укладывали их на столики, следующие подавали наверх. Таким образом работа и происходила. Днем нас отвозили домой.

Еще через год приняли меня в полевую бригаду учетчицей, считала я отлично. Еще через полгода взяли меня в тракторную бригаду. Там мне гарантировали три рабочих дня и за каждый день три килограмма зерна. Часть мы могли продать, и на хлеб оставалось. Летом, когда зерна не было, я возила из центра на всю бригаду хлеб и сестрам оставляла по буханке. То, что съедалось летом, зимой высчитывали.

Так я и осталась с шестью классами, которые окончила в Латвии. Правда, я начала там ходить в школу, но русским языком владела не очень хорошо. Конечно, я работала, могла все записать. Все освоила сама. Одну зиму в колхозе даже занималась ревизиями. Было мне тогда 17 лет.

Когда кончилась война, было еще ничего, а потом сестры вместе с остальными детьми уехали в Латвию. Я уехала примерно через полгода, у меня уже был паспорт. Я пошла и сказала, что мне уже 16 лет, и мне дали паспорт. И я сама уехала в Латвию. Одна сестра жила в Даугавпилсе у докторши, у Павловской. Другая жила у дяди в Дагде, в «Сабали». Я поселилась у своей крестной Башко. Вы, может быть, слышали, был в латвийское время такой летчик – полковник Башко.

Приехала я в 1947 году. Жила у тети в деревне, в Аглоне. Там я познакомилась со своим мужем, уеха-

ли жить в Ригу. Он работал на стекольной фабрике, жили мы тогда в общежитии.

В 1949 году, когда начали высылать второй раз, сестра из Даугавпилса приехала к нам – так казалось надежнее. Пожили год спокойно. Но потом нас с сестрой все же нашли и снова арестовали. Вечером пришла милиция, сказали – собирайте вещички. Муж тоже был дома. Официально мы не были зарегистрированы, он не развелся с первой женой. Нас с сестрой отвели в милицию. Дети остались с мужем. Он детей мне не отдал, сказал, что нечего их мучить. Муж пробовал... У него были какие-то знакомства, он пытался нас выволить – говорил, что мы приедем сами, но с ним никто не пускался в разговоры. Отвели нас в пересыльную тюрьму. Отсидели три недели, пока не набрали людей, и повезли нас обратно. В Москву не заезжали, через 28 дней оказались в Кирове, в тюрьме. Я писала домой письма, и женщины, которые оставались после нас, получали от мужа ответ. Я об этом только слышала. В Свердловске мы снова сидели, в Новосибирске несколько месяцев просидели в тюрьме. Путешествовали мы полгода и наконец попали в те же места, откуда бежали. Велели подписаться, что теперь нас высылают на вечные времена. Когда нас выпустили из вагонов, вот не помню, то ли отвезли, то ли самим надо было добираться до Красноярска. Пришла работать на овощекомбинат – там сушили картошку. Вскоре приехал муж с детьми, стали мы жить дальше. Ходили пилить дрова, детей устроили в детский сад. И однажды приехал отец. Он нас разыскал и однажды просто вошел. Он тоже устроился на работу. Он был врач, но в первую зиму в больницу его не приняли. И он стал возить в больницу воду на лошади. На санях установили большой чан, ехал он к проруби, наливал полный чан воды и взбирался наверх. Через полгода он снова смог работать врачом.

А там и у мамы кончился срок, но она осталась в Канске, где нашла работу. Сестра жила с ней, ходила в школу. Отец снял домик, и мы стали жить все вместе. Спустя некоторое время отец купил свой дом, тогда и мама приехала. И в один прекрасный день явилась и средняя сестра со своей семьей – им разрешили приехать. Так мы снова оказались все вместе.

По утрам отец отводил детей в детский садик, вечером за ними приходила я. Мы с мужем ходили пилить дрова в дальний лес – за пять километров.



Я заканчивала раньше, шла за детьми, он оставался заканчивать, убирать. Потом приехал муж сестры, стали они подумывать о другой работе, потому что у меня родился третий мальчик. И они пошли копать колодцы. В 1949 году приехал еще один их друг – Артурс Алситис. Леспромхозам нужны были колодцы. Позже, когда возникли МТС, они стали строителями.

Шел 1955-й или 1956 год. Папа сказал, что надо идти оформлять документы, так как они его все время дергают. Говорят, что я числюсь в списках ссыльных, но находиться там больше не могу. Вечная ссылка окончилась! Мы с мужем еще не собирались уезжать, была еще работа, мама с папой уехали первыми. Летом забрали документы, продали дом, упаковали вещи в контейнер. В Москве остановились на пару дней – у папы там жили родственники, сходили навестить. Было это

23 февраля, был салют. По крайней мере, дети видели. А потом поехали в Латвию.

В Риге меня не прописали, жила я у крестной. Они тогда строили дом в Межапарке, я жила в вагончике. Позже меня без прописки приняли в общежитие – в маленький уголок, где было место для кровати и детской кроватки, а потом мы переехали в Тукумс. Жил здесь знакомый Упитс, он был в русской армии, член партии. Мы получили небольшую квартиру, жилую кухню, на пятерых. Во дворе стоял двухэтажный дом, оттуда съехал один офицер, освободилась двухкомнатная квартира с кухней. Добрые соседи посоветовали, чтобы мы просили эту квартиру себе. И стали мы там жить, и живем вот уже 25 лет. Отопление печное, но что поделаешь... Так жизнь и прошла, но я не жалею, может быть, такой у меня характер. Дал бы только Бог здоровья!



*Слева: мать Анна, Лигия, Регина, Беате*

# ЛИГИЯ ГРИШАНЕ (ПОГУМИРСКА)

родилась в 1936 году



Я Лигия Погумирска, урожденная Гришане. Родилась 14 февраля 1936 года в Даугавпилсе. Мои родители – известный Петерис Гришанс и мама Анна. В семье нас три сестры – я, Беате и Регина.

1940 год почти не помню. Мама рассказывала, что отцу предложили уехать за границу, но он отказался, так как считал, что ничего предосудительного в отношении новой власти не совершил и его Родина – Латвия. Отец был награжден орденом Лачплесиса III степени за участие в Освободительных боях. Это и стало причиной высылки. Отца предупредили, но он в это не поверил, хотя вещи наши уже были сложены.

14 июня мы были в деревне у бабушки, позвонил отец и сказал, чтобы привозили детей в Даугавпилс. Нас повезли домой, а потом всех – на вокзал. Отца поместили отдельно, маму с нами тремя. Поездку не помню, была слишком мала. Помню, что оказались в Красноярской области, в Тасеево, в большом доме культуры – там нас разместили. Мне было пять лет, и я все это не воспринимала, конечно, трагически. Мама отправилась искать жилье. Нашла большую комнату между двумя речками – Усовкой и небольшой горной речкой, где летом можно было бродить по камням. Жили мы там до 6 ноября 1941 года. Мама работала в лесу, а мы жили своей жизнью. 6 ноября маму привели домой незнакомые мужчины и стали рыться в наших вещах. Сестра потом рассказывала, что они искали Библию и журналы, содержащие критику советской власти. Ничего не нашли, но маму увели. Сказали – не плачьте, мама вернется «около восьми». Прошло десять лет – маму мы увидели в

1951 году. Об отце ничего не знали до 1943 года. Наши знакомые, которые жили рядом, начали интересоваться судьбой отца, так как мы остались одни. Ответили, что отец в Вятлаге, так мы узнали, что отец жив. Мама отбывала наказание в Тайшетском лагере. Причина ареста мамы: нам не на что было жить, и мама стала продавать свои драгоценности. Русским женщинам они очень нравились, просили дать в долг, заплатят потом. Мама отказалась, ей надо было думать, как нас прокормить. Это была одна причина. Вторая – на работе ее упрекали, что пилит она очень медленно, и мама ответила, что в Латвии женщинам не разрешают выполнять такую работу. В Сибири она заготавливала чурки, которыми топили машины, так как бензина не было. За свои разговоры – за антисоветскую агитацию – мама получила десять лет. Ее освободили 20 мая за примерное поведение, хотя срок заканчивался 6 ноября. Мама вернулась, когда мне было 15 лет.

В первый год мы продали все, что можно было. В детский дом нас не приняли, считали, что мы дети врагов народа, таких не принимали. Постановили, что заботиться о нас будет правление колхоза. Конечно, правление этого не делало. Первую зиму прожили, помню, ели картошку, а что еще – не помню, возможно, больше ничего и не было. Сестру колхоз принял на работу. Это было уже весной 1942 года, сестре было 13 лет, у нее было самое лучшее образование среди живших там колхозников – шесть классов, и сестру

устроили в тракторную бригаду учетчицей. С этого дня жить стали чуть лучше. В первый год сестра заработала 300 килограммов зерна. Все съесть не могли, меняли. Хозяева,

*Причина ареста мамы: нам не на что было жить, и мама стала продавать свои драгоценности.*

у которых мы жили, давали за зерно муку, молоко, картошку, чуть позже выделили нам кусочек земли, посадили свою картошку. Помню, как она росла, – среди высокого бодяка ее не было видно, но кое-что все-таки выросло.

Помню красивую тайгу. Там росли лилии, их корни мы ели – сладкие, мучнистые. Весной, во время половодья, по реке плыли разные корешки, которые можно было есть. Помню, однажды по льдине полезла за ними, провалилась. С тех пор воды боюсь. Спасли меня окрестные дети. Несколько дней пролежала в лихорадке на печи. Летом, когда хотелось есть, ловили в речке рыбешку, жарили или варили. Весной сдирали кору с сосен – под ней была сочная смола – сладкая, вкусная. Есть хотелось постоянно.

Старшая сестра распределяла среди рабочих хлеб. Трактористы и комбайнеры в течение рабочей недели жили в бригадах. И только в воскресенье приезжали домой. Сестра каждую субботу привозила нам большую буханку хлеба.

Средняя сестра очень болела. Ей еще в Латвии поставили диагноз – ревматизм сердца. Из еды еще помню «жвачку» – делали ее из смолы лиственницы, вкусная была и берегла наши зубы.

В 1946 году старшая сестра вышла замуж, и у нее родился мальчик. Нам стало труднее, так как у сестры появилась своя семья, но и нам доставалась буханка хлеба.

Узнали, что отец жив. Помню, как в самом начале к нам приехала жена папиного брата с детьми, чтобы присматривать за нами. Но ее дети были старше, и вскоре их отправили в Игарку рыбачить. Мы распродали почти все, что у нас было, даже простыни. Когда мне понадобилось платье, средняя сестра пошила его из простыни, замочила в саже, и платье получилось серым. И я пошла в 1-й класс. Чернила делали из той же сажи, тетрадок не было, белье стирали в сером растворе, белье получалось белым. В школе писали на клочках, оторванных от газет. Со стороны местных приходилось выслушивать всяческие дразнилки: «Латыш, куда летишь». Тычков доставалось немало за то, что латыши. В колхозе жили у двух стариков, которые в свое время приехали в Сибирь из Украины. Старушка рассказывала, что на горе стояла церковь. Когда в 1917 году пришли «красные», церковь взорвали – она ходила спасать какую-то икону. Из-за иконы она во время взрыва потеряла глаз. Там, где стояла церковь, потом построили детский дом.

В 1946 году днем пришел к нам милиционер и велел собирать вещички. На машине отвезли нас в Канск. Некоторое время жили там в детском доме. Потом уж мы поняли, что нас везут в Латвию. На Родину возвращались пассажирским поездом. В Москве дали нам черные лаковые туфельки и нормальные платья. В Латвии жили в детском доме, у средней сестры спросили адрес родных или знакомых. В латвийское время с папой работала такая доктор Павловская, и сестра назвала ее адрес. Через некоторое время она приехала и нас забрала. Сестру отправила к родственникам отца, а меня оставила у себя. И с 1946-го по 1949 год я жила у нее, ходила в 1-ю Даугавпилсскую среднюю школу. Помогала ей по дому, пасла и доила козу. Отец из лагеря присылал ей деньги – продавал свой хлеб. Мама все время находилась в Тайшетте. Старшая сестра осталась с мужем в Сибири, но в 1947 году не выдержала и без паспорта приехала в Латвию к своей крестной Башко, в Яунаглону, жила там какое-то время.

Наступил 1949 год, старшая сестра вышла замуж второй раз, уехала в Тукумс, вслед за мужем. Средняя сестра осталась в Дагде – училась, работала, тоже вышла замуж. Потом доктор сказала, что я должна уехать к сестре в Тукумс. Старшая сестра встретила с отцом в Вятлаге, еще до отъезда в Латвию. Отец отдал ей свои вещи – отцовские часы мы отдали докторше, но когда она везла меня в Ригу, повесила мне их на шею. И в Ригу я приехала со своими вещичками и отцовскими часами. Жила у папиной сестры.

В Тукумсе я жила до сентября 1950 года. У сестры было уже двое детей. Я училась в 7-м классе. Однажды вечером в дверь постучали, вошли и сказали: «Собирайтесь!». Мы только-только замочили белье. Ничего не объяснив, забрали и сестру, и меня. Муж сказал, что детей не отдаст, он состоял в партии с 1937 года и с «теми» государственными органами был в хороших отношениях. Он сказал нам: идите, я все устрою, и вас освободят. А вот мокрое белье с собой мы все-таки взяли. Ехали долго – с 30 сентября до конца января. Десять дней провели в Центральной тюрьме, в Москве сидели вместе с уголовниками, потом нас повезли в Горький, Вятку, Новосибирск, Красноярск, пока мы не оказались в Канске. Привезли в то же место. Считаю, что мне повезло, – только во второй раз везли через тюрьмы. В тюрьме – дощатые нары, все спят в одном углу, в другом углу параша, стыдно или не стыдно,

ходи туда. В Кировской тюрьме было получше – можно было свободно ходить по помещениям. Тех, кто, по мнению охраны, не были заключенными, приглашали на кухню – чистить картошку, делить пищу. Там видела я и уголовников – убийц. Из одной тюрьмы в другую нас перевозили в вагонах с решетками, в клетках. Давали там только селедку, пить – по норме. Это было ужасно. Когда мы оказались в Канске, те же люди дали нам комнату, и жили мы снова у них.

Средняя сестра осталась в Дагде. Ей повезло – она подружилась с местными ребятами, был среди них и милиционер, и он сестру предупредил: или уезжайте, или исчезните. Сестра привела хозяйство в порядок – забила свиней, накопила мяса и второй раз приехала в Сибирь с мужем и детьми, так как боялась, что ее будут искать и вышлют по этапу. Приехала сестра пассажирским поездом. В 1951 году приехал муж старшей сестры с детьми – ему ничего не удалось добиться. Ему сказали: если свяжетесь с женой, придется положить на стол партбилет. Он приехал с детьми и положил на стол партбилет. И так вот мы жили до 1956 года.

Маму освободили, она приехала к нам в поселок, но потом вернулась в Канск, где устроилась лаборанткой в туберкулезный санаторий. В сентябре она взяла к себе меня. Я окончила семилетку и поступила в библиотечный техникум.

Вы помните день, когда вернулась мама? Помню, когда она приехала. Но я не бросилась к ней в объятия. Понимаете, было какое-то странное чувство отчуждения. Позже все нормализовалось. Мы были рады, но мы уже были взрослые. В 1951 году мне было 15 лет, а посадили маму, когда мне было пять лет.

В 1951 году сообщили, что отец жив. Его освободили и отправили на «пожизненное поселение». Он сам мог выбрать место поселения, но никогда не думал, что сможет вернуться в Латвию. Отец предпочел поехать к детям. В Канск его привезли по этапу. Мама узнала, что он в Канске, и мы пошли к нему. Этого я вспоминать не хочу, не хочу. Маму выпустили из тюрьмы, ей даже паспорт выдали. Когда освободился отец, паспорт отобрали и у мамы, и у меня, так как и мы теперь были сосланы навечно. Мы были величайшие преступники.

Отец уехал в Тасеево, жил у старшей дочери, устроился на работу. В больницу его как политзаключенного вначале не взяли, считали, что он может причинить вред. Он устроился на леспромкомбинат возить дрова и воду. Потом его все же пригласили врачом в больницу, и так было все последние годы. Отец построил дом – привез бревна, зятя ему помогали. Начиная с 1943 года, отец писал во все инстанции просьбы об освобождении, но ответы не приходили. В 1956 году пришло извещение, что дело его прекращено. (Не как маме, ей пришло извещение, что она реабилитирована.) Отца реабилитировали только в 1995-м или в 1996 году. Когда отцу сообщили о прекращении дела, а маме о реабилитации, они стали собираться домой. В Латвии у отца жил двоюродный брат, договорились, что уедут они вдвоем, а мы еще останемся. У родителей были кое-какие деньги, они продали дом. В Латвии отец устроился на работу в Даугавпилсе. Вначале сестра посоветовала ему поехать в Тукумс, но когда отец увидел в Тукумсе высокую гору, он понял, что взобраться на нее не сумеет. В лагере у отца был инсульт, здоровье было слабое. В Риге жить и работать ему было запрещено, и, возможно, при поддержке Министерства здравоохранения, он устроился на работу в Даугавпилсе. Родители приехали в Латвию в октябре 1956 года. Я уже окончила библиотечный техникум и должна была отработать положенный срок. Написала в Красноярский отдел культуры, чтобы разрешили мне вернуться в Латвию. Разрешение получила. Мама прислала деньги, решила уехать и старшая сестра с детьми. 23 февраля 1957 года мы были в Москве. Я осталась в Даугавпилсе, а сестра поехала в Тукумс, там у мужа были знакомые. В Даугавпилсе наш знакомый Карлис Штейнс помог мне устроиться на работу. В латвийское время его мать работала у нас прислугой. Штейнс и папе помог устроиться. Меня приняли в городскую Научную библиотеку. А потом я встретила своего мужа. У отца была 18-метровая комната в коммунальной квартире. Когда я вышла замуж, муж получил направление в Нерету, там прожили семь лет, а потом 25 лет Мадоне. Сейчас живу у внуков в Елгаве, они звали меня к себе.



## ЛАЙМА ГРОСБЕРГА (ЧЕРНЯГИНА)

родилась в 1940 году

У отца был дом, мама пришла к нему из бедной семьи. Отец собирался строить новый дом. В 1940 году, когда пришли русские, у отца было 32 гектара земли, была молотилка, скот, пчелы. Отец был айзсаргом. Он любил охоту, участвовал в общественной жизни волости.

14 июня 1941 года в половине пятого утра явились солдаты. Через полчаса должны быть готовы, собой ничего не брать. Были и помощники из латышей. Не сказали, куда повезут, может быть, прямо за домом и расстреляют. Не было даже хлеба, мама как раз собиралась печь, накануне затворили тесто. Один солдат схватил мешок и сунул туда теплую одежду. Бабушки в списках не было, она стояла на дороге и упрашивала, чтобы взяли и ее с ее единственной дочерью. Отвезли нас на станцию в Вецумниеки. Дорогу, конечно, не помню, было мне всего девять месяцев. Давали какую-то еду и воду. Довезли до Ачинска, приехали из колхозов и отбирали людей. Нас взял какой-то старичок и отвез в Листвянку, в Большевистский район. Отец меня очень любил, прощаясь, поцеловал, снял обручальное кольцо, дал мне его на память.

В Сибирь приехали в середине лета, не знали, повезут ли дальше, или расстреляют. Молодые женщины ушли работать, днем скотницы, ночью провевали зерно. Бригадир говорил, чтобы насыпали в карманы и в валенки, несли детям, чтобы не умерли с голоду. Первый год было очень тяжело, все, что взяли с собой, обменяли на продукты.

Помню, рядом жила учительница с тремя девочками. Им давали муку, и когда они пекли хлеб или лепешки, всегда приносили мне. Помню, зимой, когда есть совсем было нечего, принесли головку мороженой капусты,

мы отламывали и ели. Была Пасха, а есть нечего. По реке шел лед, мама хотела идти топиться, дети смотрели голодными глазами, а покормить их было нечем. Побежала она к реке, но Бог остановил ее, она вернулась домой. Соседка принесла яйцо, другая принесла молока. И снова она могла нам что-то дать. Потом уже у самих появились и коза, и огород. Сажали очистки. Трудное было детство.

В 1948 году пошла в школу, говорить по-русски не умела, изучила литературный русский, не диалект. Окончила семилетку, окончила среднюю школу. В 1957 году мама погибла. Она была дояркой на ферме. Мужчина один дружил с дояркой, было это 10 августа, день ясный, солнечный. Мама пошла километра за два косить сено. И мужчина этот напился, и мама попала на его пути, он пытался ее изнасиловать, мама стала защищаться, и он выстрелил в нее из ружья. Я была на работе. Через полчаса свинарка встретила маму, полуживую, обескровленную. На машине ее везли 25 километров в больницу, и там она умерла. Остались мы с бабушкой вдвоем, а мне еще предстояло учиться в десятом классе. Бабушка болела, и она мне сказала: «Последнюю коровку продадим, а школу ты должна закончить». В десятом классе за школу платить не надо было, но есть-то надо было что-то. Школу я окончила, обходились крохами. В 1958 году меня пригласили преподавать в начальной школе. В 1959 году я познакомилась со своим будущим мужем, мне было восемнадцать, ему девятнадцать. В 1960 году

родилась Валентина. В том же году поступила на заочное отделение в педагогическое училище, окончила его в 1964 году. Благодаря бабушке и мужу сумела уехать на сессию и все сдавала. Потом работала в школе.

*Была Пасха, а есть нечего. По реке шел лед, мама хотела идти топиться, дети смотрели голодными глазами, а покормить их было нечем...*

Меня никогда не упрекали моим происхождением. В 1965 году родился долгожданный сын. Муж уехал в санаторий лечить спину. Возвращаясь с Кавказа, заехал к родным в Латвию. Поговорили они, сказали, чтобы приезжали домой. Муж сказал: «Едем». Там мы жили в деревне, жили обеспеченно. Думали о детях, об учебе. Рядом был Ачинск, была школа, но там были зеки. У мужа там брата убили. Приехали сюда.

20 октября 1967 года. Как переехали границу Латвии, бабушка стала просто рыдать. Сначала мне так странно было – дома на таком расстоянии друг от друга. «Благодаря русским мы выжили», – сказала бабушка. Меня никто не обзывал. Я долго думала, где поселиться, все мне казалось чужим. Поселились у родственников в Бауске, получили квартиру, стали работать. Работала в «Сельхозтехнике» бухгалтером, муж трактористом. Зарабатывали, получили квартиру. Дети хорошие выросли, внуки. Единственное – работы нет, учеба дорого стоит.

Отец был в Гулаге. После войны мама куда-то писала, пришел ответ, что умер в декабре 1941 года от сердечной недостаточности. Он был хороший, сильный человек, ему было тридцать шесть лет. Вернулся из Гулага один мужчина, рассказывал, что работать приходилось тяжело, кормили очень плохо.

Моя тетя рассказывала, что один вернулся из лагеря и рассказывал, что отцу было очень плохо, и он его убил. Правда ли это, не знаю.

Я прожила в ссылке семнадцать лет. Здесь дети ходили в русскую школу. У детей хорошие семьи. В Сибири бабушка мало рассказывала о Латвии. В юности она была прислугой у барона. Там солнце садилось в той стороне, где наша Родина. У нее была Библия, она ее читала, хотя было у нее всего два класса образования. Я ни там не чувствовала дискриминации, ни в Латвии не чувствовала. Нельзя всех русских называть оккупантами, винить за 1941 год. Бабушка не могла простить Сталину и политикам смерть своей дочери и зятя.



*Родители Лаймы – отец Андрейс и мать Хедвига в Латвии.*



## ЭРНЕСТИНЕ ГРУБЕРТЕ (ЛЕБЕДЕВА)

родилась в 1927 году

Девичья моя фамилия Груберте. Фамилия деда была Крастиньш. Родилась я в 1927 году, а в документах стоит 1926 год. В детском доме, чтобы поскорее избавиться от нас, год нам добавляли. В Тамбовскую область попали мы во время войны.

Родилась я в России в селе Холм.

В 1929 году началось раскулачивание, выгоняли из дома, отнимали скот. У дедушки было четыре коровы, две лошади. Отца отправили в Воронежскую область, на станцию Тойда, где он был назначен якобы директором сахарной фабрики. У меня был брат, который родился в 1929 году. После раскулачивания мама искала пристанище, бабушка была слепая, абсолютно слепая, плохо видела она с самого детства. На мамином иждивении осталось двое детей и два старых человека. Мама узнала, что в Смоленской области недалеко от станции Кардымово есть латышский колхоз «Страуме», она списалась, и мы поехали. Дали нам комнату в старом небольшом доме. В колхозе работали латыши. Русских не было. Мы, дети, хоть и жили в России, русского языка не знали, не было русского окружения.

В 1935 году надо было идти в школу. Мама узнала, что в Смоленске работает латышский детский дом, принимали туда детей, у которых был только один из родителей. А отца у нас не было. Связь с ним прервалась очень, очень быстро, он ни разу больше не откликнулся, вероятно, оказался в Гулаге или его расстреляли – мы этого не знаем.

В декабре 1936 года я ждала маму в детском доме, удивлялась, почему она не едет за мной – забрать меня на зимние каникулы. В дверь постучали, я говорю – войдите, а в этой комнатке я была не одна, 15–18 нас, девочек, было. Я сидела у окна. Вошел какой-то маль-

чик, назвал мою фамилию. Я встала, слушаю, что он скажет. Он и говорит: «Твоя мама никогда не придет: ее больше нет. Дедушки тоже нет – они арестованы». Я, как только услышала, упала без памяти. Девочки потом говорили, что я без сознания пролежала трое суток. Об этом мы узнали только сейчас – их расстреляли 13 января 1938 года. Когда я услышала это, маме и дедушке оставалось жить всего несколько дней.

В нашем детском доме, как и везде, чекисты увели всех латышских учителей, и директора тоже. Детей согнали в русскую школу. Пришлось нам учиться на русском языке. А так как мы ничего не понимали, в классе нас унижали, сажали на последние парты. Я окончила 3-й класс, а в 4-м делать мне было нечего – я ничего не понимала. Научились с трудом, но дети могут все.

И вот настало 9 сентября 1939 года. Наш детский дом ликвидировали в 24 часа, потому что там были латыши. И хотя к тому времени к нам подселили и еврейских детей, человек 40, и русские там были, и корейцы, и еще – кто знает, какие национальности там были, – всякие были.

Сказали, что будет война с Польшей и здание передается военным. Военные машины уже стояли у ворот, и нас поделили на группы до 15 человек и распределили по детским домам всей Смоленской области. А так как к тому времени детских домов появилось очень много, я попросила направить меня в ближайший к станции Кардымово. И я

туда попала. Почему к станции Кардымово? Потому что бабушка там жила, латышский колхоз был всего в семи километрах от этого детского дома. У меня была возможность изредка бывать у бабушки.

*В детском доме было большое хозяйство. Было 20 гектаров земли, мы, дети, все это обрабатывали. Были коровы, голов 15, лошадей штук девять, около 30 свиней.*

Бабушка рассказывала, что ночью приходила какая-то женщина. Ночью, чтобы ее не узнали. И чтобы никому не рассказывали, что она приходила. Якобы она была с мамой вместе, и мама очень плакала, и они высланы якобы на Север. На самом деле это была ложь, потому что их расстреляли. А что еще она хотела узнать у бабушки, неизвестно. В 1939 году бабушка пошла со мной в ближайшую школу. Я ее вела за руку, потому что она ничего не видела. Директор школы написал просьбу, чтобы и брата перевели в детский дом, где находилась я. Но не перевели. Узнали, что это ребенок сосланного или арестованного. Тогда был такой закон, что братья и сестры не должны были знать, что у них кто-то есть, они никогда не должны встретиться.

Прошел год или больше. Я пыталась разыскивать братика. Просила директора, когда приходила в Кардымово, чтобы он помог. Директор обещал и через несколько месяцев сообщил мне, что брат находится в тамбовском детском доме и что есть договоренность, что его привезут на Рождество. И 25 декабря 1940 года его привезли в Кардымово. А он переболел малярией и брюшным тифом, был еле жив. Женщина, его сопровождавшая, сказала, что в Москве их ни в одну гостиницу не хотели пускать, когда видели, какого ребенка она везет. Он был почти при смерти. Тогда она схитрила, ты, говорит ему, посидишь на скамеечке, пока я достану номер. Это она мне рассказала, когда привезла ребенка. А он латышский язык забыл, забыл, как меня зовут, как маму. Мы в семье говорили так: дедушка, бабушка, мама, папа. Никого по имени не называли. Его звали Арнолдс, меня Эрна. Он все это забыл. Директор детского дома сказал: «Этого мальчика нельзя пускать к другим детям, он очень слаб и болен. Его надо поместить в больницу. Попробуй выяснить, твой ли это вообще брат. Твой братик, возможно, умер, когда болел брюшным тифом». Я залилась слезами – зачем же надо было обманывать, зачем надо было привозить чужого ребенка. Его поместили в комнате, где мы обычно готовили уроки. Я сидела с ним три дня (его положили на стульях), расспрашивала, все думала – как же узнать? Спрашивала, помнит ли он, как звали дедушку, бабушку. Не мог он ничего вспомнить. И тут вспомнила я – когда он был маленький, он порезал ногу осколком бутылки, и на ножке должен был остаться шрам. Я несла его домой на руках, хотя была старше всего на два года и семь, кажется, месяцев. По этому шраму я его и узнала. Побежала к директору, хотя было уже поздно, стучу обоими кулачками в дверь, он вышел

и я говорю – узнала, узнала, это он. Директор прижал мою голову к себе и сказал: «Мы его отправим в больницу». Брат пролежал в больнице несколько месяцев. Об этом узнала бабушка, видно, рассказал ей кто-то. А у нее ничего не было. И в колхозе решили: каждый месяц она будет переезжать из дома в дом. И целый месяц колхозники будут ее содержать. Колхоз давал муку, картошку, немного молока. Кажется, кусочек мыла на месяц. Подробностей я уже не помню. Кто-то от ее имени отвез брату в больницу мисочку топленого свиного сала. Я пришла его проведать, а он показывает мне мисочку и говорит: «Бабушка мне свиного сала прислала». У меня еще и сейчас эта алюминиевая мисочка перед глазами.

Потом директор отправил его в пионерский лагерь «Красный бор». Довольно далеко. Кто его отвозил, я не знаю. А потом началась война.

А что вы делали в это время? Я училась. В 4-м, в 5-м классе.

Как вам удалось вспомнить латышский язык? Ведь в то время все происходило на русском, вряд ли вам разрешали говорить по-латышски? Да, да, да. Мы были так заняты, что у нас не осталось времени на самих себя. Некогда было и горевать.

В детском доме было большое хозяйство. Было 20 гектаров земли, мы, дети, все это обрабатывали. Были коровы, голов 15, лошадей штук девять, около 30 свиней. Скотники были, конечно, остальное делали мы сами: сено заготавливали, пололи огороды, яблоневый сад был. А когда началась война, в Кардымово пробыли всего несколько дней. Дошло уже до того, что немец от нас был в трех километрах. Войска перешли Днепр, через мост. В самый последний момент братик пришел пешком из «Красного бора» в Пищино. А бабушка попросила сложить всю оставшуюся одежду, потому что поняла, что ее дни сочтены. Одежду привезли из колхоза на лошади, свалили в коридоре. Мы должны были уходить. Взять с собой ничего не могли, ушли в том, что было на нас. Даже продукты – кому-то положили в сумочку, кому-то и не положили.

Войска отступали, непрерывные атаки, тут же падали самолеты, все было так страшно. Из нас, детей, никто не умел плавать, а идти надо было через Днепр. Тогда Днепр был полноводный, не то, что сейчас – полупустой. Кто пробовал плыть, кто держался за бревно... Нас было двести человек – с первого по десятый класс. Взрослых с нами не было – их сразу же отправили на фронт. Мы шли через лес, шли, вероятно, неделю, и нападали на нас, встречались и колхо-



зы, где нас кормили. Из домов выходили женщины, несли нам молоко, хлеб – что у кого было. Были и такие, кто кидал вслед нам камни – буржуйские дети, преступники мы все в этом детском доме, ведь 99% среди нас были дети сосланных. Только несколько малышей было, всего, может быть, трое.

В Ельне в первый эшелон мы не попали – грузились войска. Через два часа нам сообщили, что дорогу разбомбили, что дальше ехать ельзя.

Прошло несколько дней. Воздушные налеты продолжались, мы прятались в хлебах, в канавах, на обочине – кто где в тот момент находился. Никто из нас не пострадал. Ни один.

Вот в поезде, там да... Пуля прошила шапку на братишке, пролетела между ног, застряла в досках. Напротив брата сидела старая женщина и ее дочка с ребенком. Убило дочку и внучку. Старая женщина осталась жива. Что с ней было...

Целую неделю везли нас поездом в Тамбов. Кормили раз в сутки – 50 граммов хлеба и 50 граммов сала, если кто-то своим поделился. Никакой воды, никаких потребностей не было. Было нас 70 человек в вагоне. Мы стоять не могли, все сидели. Ноги складывали друг на дружку, и если у кого-то снизу ноги немели, тот просил, чтобы все сняли свои ноги, и он бы мог встать.

Привезли нас в Мичуринск, буквально вытаскивали из вагона, не могли стоять; и голодные мы были. Когда меня вытащили на свежий воздух, я потеряла сознание. Сказали, что для нас в столовой приготовлена еда, но чтобы мы не набрасывались, потому что может закончиться смертью. Вошли в столовую, а там так вкусно пахло, что мы одним запахом наелись. Нам и еды уже не надо было. Воспитательницы нас уговаривали, чтобы мы хотя бы попробовали. Но сил ни на что не было. Приехали за нами на быках, погрузили и повезли за 20 километров в старую школу. Школа пустовала, рядом построили новую, и в этой уже никто не учился. Спали на полу, не было ни под нами ничего, не было и чем укрываться. И мы, как селедки, все рядком. Через некоторое время директор детского дома достал где-то маленькие кроватки. На всех не хватило, спали по двое, как русские говорят, «валетом».

Фактически я должна была учиться в седьмом классе, но русский язык «съел» у меня целый год, училась я в шестом. Я еще не окончила школу, как пришел запрос из Тамбова – ремесленному училищу нужны дети. И в январе 1942 года нас в собственноручно пошитых сапожках, которые

мы называли бурками (на них надевали галоши), отправились в училище.

Тамошний директор увидел нас и сказал: «Пока обувь на детях держится на честном слове, мы их не примем». И тогда наш директор отвел всех в детский дом, где до войны жил мой братик. Пробыли там две недели, пока директор не достал нам ботинки.

В городе был завод, где чинили танки. А так как мы были маленькие, под ноги подкладывали доски. А я еще в латышском детском доме переболела острой формой ревматизма. В цехах было холодно, зимы суровые – до минус 40 градусов. Ноги и руки у меня опухли, я обратилась в медпункт. Мне помогли. Дали лекарства, лежала несколько дней в медпункте.

Но в ремесленном училище мы жили под охраной – сами никуда выходить мы не могли.

Я написала в Москву и поинтересовалась, где мои родители, чтобы отозвались. За это письмо пришли в училище меня арестовать. Вывели меня, их было двое в форме. Тогда один повернулся и сказал, что ему некогда, чтобы тот, второй, отвел меня куда следует. И вот ведет он меня по городу, по центральной улице, называлась она Большая Советская, и ремесленное находилось на этой улице. Тут навстречу идут солдаты, курят. И ему захотелось курить. Остановился он, стал искать сигареты, а мою руку отпустил. Ну, я быстро в толпу, которая вышла из театра. И затерялась.

Пошла я к медсестре. Другого выхода у меня не было. Возвращаться в училище не могла. Рассказала все сестричке, и взяла она меня к себе домой. Жила она окраине города, муж воевал, дома была мама и две дочери. Продержала она меня у себя с неделю. Потом написала справку, что я больна, находиться в училище не могу по состоянию здоровья, должна вернуться в детский дом. Так я спаслась от чекистов, хотя одной рукой они меня уже схватили.

Директор детского дома меня принял и оформил ночной воспитательницей. И я попала к тем же детям, с которыми вместе росла. Мы были ровесники, и многие меня не слушались. Я плакала, на нервной почве все руки покрылись сыпью, и меня, по распоряжению врача, перевели на другую работу. Так стала я скотницей.

Я ухаживала за скотиной, доить ходила примерно за семь километров в степь, и волков в дороге встречала, шла тропинками через хлеба.

Старшие мальчики косили сено для коров и лошадей. И я носила молоко косарям. Днем они не работали – жара стояла под 40 градусов. И я утром,

часа в три вставала и работала до десяти, потом ложилась спать до пяти вечера. Волки бродили целыми стаями вокруг их палаток. Испугалась, думала, как я подойду к ним со своим молоком. Но стая волков как пришла, так и ушла. Вероятно, возле костра искали они остатки еды.

Все время я следила, ждала, когда освободят Смоленскую область. Писала письма, и письма все-таки приходили в Кардымово, бабушка их получала. Сама она уже не видела, но ей письма читали, бабушка знала, где мы, что мы с братом вместе и живы и здоровы. Просили, чтобы она прислала нам какой-нибудь адрес из Латвии, она и до войны нам адреса давала. И нам прислали в детский дом адрес.

А как вам пришло в голову в то время поинтересоваться Латвией? Потому что мы были латыши, и бабушка нам всегда рассказывала, что такое Латвия. Нам из Латвии присылали фотографии, на Рождество нам присылали посылочки, мы в то время ужасно голодно жили. У мамы был школьный товарищ, полковник Янсонс, Коля.

И вот бабушка снова прислала нам адреса, и я написала. Вместе с войсками мое письмо пришло в Латвию. Как раз в военной части была почта. Почтовое отделение и дом – «Друвиняс», как раз напротив друг друга. Это большая старая корчма. Жил там старый Янсонс, сын дедушкиного брата. Он сразу же, как только получил письмо (его, конечно, прочитали), написал ответ. И не только, он прислал и денег на дорогу. У меня до сих пор хранится почтовая квитанция: перевод на 400 рублей. Видели бы вы, на какой бумаге написано: на обороте старой тетрадной обложки. И такая полосочка. Это было время, когда писать было не на чем.

Как вы приехали? Я тогда пошла в милицию, у меня документов не было, мне выдали временное свидетельство, так называемый временный паспорт, когда исполнилось 16 лет. Я попросила, чтобы на этом свидетельстве написали, что я уезжаю в Латвию. Из Латвии мне прислали маленькую семейную фотографию.

Билет из Тамбова в Смоленск мне дали, дальше ехала в товарных вагонах – то на дровах, то на ступеньках вагона, на буфере, по-всякому. Мама моего школьного товарища дала мне банку консервов. А когда мы тут открыли, там оказался кирпич. Так вот... Ну, кто мог это знать.

Гнали нас, выкидывали. Если мы не выходили, двери закрывали. В вагонах было пусто, ехали только те, кто хотел уехать из России. В вагоне нас было чело-

век пять или шесть, не больше. Это все были пустые товарные вагоны. Оказалось, шли они в Польшу и в Германию за награбленным добром. Несколько суток поезд нигде не останавливался – ехал себе и ехал. Вдруг слышим – Латвию проехали, мы уже в Литве. И тут поезд остановился – ждал встречного. Видно, было место, где они не могли разъехаться. Встречный был с войсками и с имуществом. Чего там только не было: мебель, легковые машины, все вагоны забиты до отказа. Когда мы остановились, с одной стороны путей было озеро. Близко так, что и пройти было невозможно. Мы незаметно вышли с другой стороны, так как они забыли закрыть двери. И вот мы на свободе. Стали ждать встречного поезда. А это снова военный состав. Охраняли его страшно. Но солдаты поняли, что мы хотим попасть к своим. И подсказали: «Лезьте под вагон, когда охрана отойдет, мы вас заберем наверх. Когда сядете к нам в машину, голову пригните, чтобы вас в окошко не было видно». Так доехала до Даугавпилса. В Даугавпилсе нас поймали, вытащили, стали допрашивать, откуда мы и кто такие. Ну, отпустили все-таки. Шел поезд из Ташкента, и что он вез, как вы думаете? Ехали евреи. Вагонов пять или четыре, и их охраняли. Запрыгнула я на заднюю платформу, а там молодой парень с автоматом: «Тебе что, девять лет захотелось?». На первой станции он пошел к евреям в вагон – не возьмут ли они к себе девочку? «Есть спирт и хлеб – возьмем». К счастью, я всем этим вооружилась. У меня был хлеб и солдатская фляжка. Нам в Тамбове давали, чтобы мы могли купить себе одежду. Зарплату платили крохотную – 90 рублей, а хлеб стоил 200 рублей, представляете? Отдала я хлеб и фляжку. И они меня пустили в свой вагон. Там были семьи с детьми, народу много. Вагон отапливался чугушкой. Так я добралась до Риги. Вышла из вагона. Машин нет, только извозчики. Попросила одного, чтобы повозил меня по городу, мой поезд на Цесис уходил только ночью, весь день у меня был свободен. Я проехала по улице Слокас довольно далеко, потом обратно до ВЭФа и снова на вокзал. В Цесисе не знала, как сообщить родственнику. Дождалась утра, пошла на почту и дала телеграмму. Оказалось, можно было позвонить по телефону, но я этого не знала. Когда я вернулась с почты на станцию, вышла пожилая женщина и сказала: «Ваш дядюшка уже выехал, часа через три или четыре будет здесь на лошади». Я никогда его не видела, но у меня была семейная фотография. За эти годы латышский язык я забыла, разговаривать-то было не с кем. Хотя хранила при себе клочок книжной страницы, чтобы не забыть латышские буквы.

И вот я осталась на вокзале одна, совершенно одна. Никого нет. Идет пожилой дядечка в длинном брезентовом плаще и улыбается – ну кому другому быть! Я иду навстречу, здороваюсь по-русски, он здороваётся по-латышски. Я говорю: «Дядюшка Янсонс, говорите со мной только по-латышски, я все понимаю, только говорить пока не могу». И вот мы едем, он мне рассказывает, показывает хутор, где когда-то жил мой дедушка. Дом разрушен. Это был Свиестинькрогс... в Косеской волости... Приехали. За столом все, конечно, говорят только по-латышски. Слушаю, иногда вставляю слово и думаю – верно сказала или нет. Они мне говорят: «Мы по-русски понимаем, говори, как тебе удобно». На третий день вдруг заговорила по-латышски. Внезапно. Словно бы очнулась, если не хватало какого-нибудь слова, произносила русское.

Росла я в сугубо общественной среде, и мне трудно было представить, как можно жить в сельском доме и ничего не делать. Стала интересоваться. «Сходишь в сельсовет, а там видно будет, что они скажут», – это дядюшка Янсонс.

Что сказали? Вошла я и от смущения по-русски: «Здравствуйте!». Покраснела, стала искать парторга, председателя сельсовета, все они были латыши... Они мне сразу же предложили работу финансового агента. Если бы они знали, что родителей моих забрали... Я писала, что они умерли... Дядюшка Янсонс взял меня на свое попечение, даже бумагу написал, что его родственники в 1918 году уехали в Россию. У меня и сейчас эта бумага в сохранности.

А как в 1949 году высылали? Вы же видели? Ну, ужасно, ужасно. Моему старшему сыну было годика два, даже меньше, а этот еще не родился. Рудик вцепился в юбку тети Приедите, кричит, плачет. Я старалась положить им в телегу продукты. Поросенка забили, хлеб был. Крупу положила, мясо положила, одежду. Чекисты тут же описали скотину, имущество, которое осталось. У старика рожа на лице выскочила. Жена оказалась покрепче, старик совсем расклеился. Выслали их в Омскую область. На их же собственной лошади отвезли их в сельсовет, а вечером мимо нашего дома тянулась вереница подвод. Стояла и смотрела. Около 150 подвод. Не все были из нашего сельсовета, у нас всего было около 300 хозяев. Крупных хозяев в Скуиене не было. Только мелкие. Самое большое хозяйство – 30 гектаров, четыре-пять коров, пара лошадей... Я, поскольку была налоговым агентом, все хозяйства хорошо знала.

А потом стали создавать колхозы. Назначили меня бухгалтером. Можешь – не можешь, никто не спрашивал. А у меня всего месяц назад малыш родился. Дома рожала, встала и на работу. Одного в одной комнате закрою, второго – в другой. Еще и хозяйства два было – свое и оставленное Приеде.

Чем закончилась история с родителями? Прислали мне лживый ответ – ваша мать умерла в 1944 году от воспаления легких. Успокоилась как будто на этом. Писала и про деда. Сказали, это ваш дальний родственник, и необязательно вам о нем знать. Об отце спрашивала – тут и ответа не было. В сельсовете предложили мне за 700 рублей купить дом, где я осталась вместо хозяев. Сказала: «Чужие слезы мне не нужны. Покупать не буду». Но вам же жить негде, говорят мне. Сказала, что мне все равно где жить, хоть в сельсовете, дайте комнату, буду работать. Председатель сельсовета купил этот дом, разобрал, отвез на другое место, но так ничего и не построил. Мне дали комнату на втором этаже в доме, где был сельсовет. И оттуда я снова стала писать и интересоваться судьбой родителей. Прислали эту лживую бумагу. Об отце мне написали, что он якобы несколько раз менял фамилию. И еще мне ответили, что он вообще не латыш, что он литовец, что он никогда в Латвии не проживал. И это письмо у меня есть.

Снова я стала интересоваться судьбой родителей, когда жила уже здесь, в Юрмале. Была там такая Хелена из комиссии репрессированных. Говорю, вот есть у меня документы. На что услышала в ответ – они фальшивые, никуда не годятся. Пишите снова. Узнаете правду.

Написала я в Смоленск, в Москву. Мне ответили и прислали свидетельство о смерти, совсем другие сведения там были: ваша мать расстреляна 13 января как политический преступник. Статьи там такие, что мне и не выговорить. Об отце так до сего дня ничего не известно. О маме и о дедушке написано: «Решением народного комиссара внутренних дел СССР и прокурора СССР от 5 декабря 1937 года, по статье 58 б пункт 4 и 2 УК РСФСР необоснованно обвинялись в том, что якобы являлись членами латышской контрреволюционной повстанческой террористической шпионской организации, проводившей контрреволюционную деятельность. Крастиньш Давид Денисович и Крастиньш-Груберт Марта Давидовна были осуждены к высшей мере наказания – расстрелу. Приговор в отношении обоих приведен в исполнение 13 января 1938 года. Место захоронения неизвестно».

# РУТА ГРУГУЛЕ (ВАСАРАУДЗЕ)

родилась в 1936 году



Я родилась 30 декабря 1936 года. Семья наша состояла из отца – Адамса Гругулиса, родился в 1885 году, мамы – Иевы Гругуле, родилась в 1903 году. Поженились они в 1928 году, в семье было четверо детей. Старший брат Виталийс, сестра Элеонора, я – Рута и младшая Анна.

Отцу дали землю за то, что он был «Лачплесис». Собственность свою он назвал «Страутини», построил дом, хлев – все, что нужно для жизни. Не все закончил, дом построил, но все неотложные дела еще надо было заканчивать. В 1941 году нашу семью вывезли – всех шестерых. Я даже не помню, как все происходило, больше знаю по рассказам соседей. Приехала грузовая машина. Отец работал в волости, там его и взяли, он уже сидел в машине. Отвезли нас всех на станцию Ливаны, где, кажется, уже стоял поезд. Отца забрали, ехали мы с мамой. Я этого не помню. Привезли в Канск, оттуда в Тасеевский район. Было село, фабрика. Мама там какое-то время работала. Содержать нас ей было трудно, через некоторое время она связалась с колхозом, и нас отвезли туда. Село Вахрушево, колхоз... Как назывался колхоз, не помню, знаю только, как называлось село.

Село было длинным, как город, поперек текла речка, на другом берегу было село Унжа. Мама работала на ферме, кормила овец и телят, были и коровы. Брат пас овец. Я ходила помогать маме. Было холодно, и телята обморозили ноги. Я заслужила благодарность за то, что помогала маме и спасала телят. Мама говорила, что надо делать. Когда мне было уже лет 16, ездили на лошадях на луг, косили сено. Я тоже научилась косить. Косу мне точили мужчины или женщины постарше. Потом работали на тракторе,

я была прицепщиком, научилась водить трактор. Когда села за руль в первый раз, все казалось, что сейчас свалюсь в канаву. Но все кончилось хорошо. Научилась.

Как жили в конце войны? Помню, когда война кончилась, в 1945 году, какой-то парень объезжал все село верхом на лошади и возле каждого дома останавливался, говорил, что кончилась война. Были там солдаты, видно, их обучали. Мамы не было дома, а нам было страшно. Они бежали по деревне, но в дома не заходили. Помню, спросила у сестры, правда ли, что одна семья хотела кого-то из нас удочерить и воспитать, чтобы маме легче было. Есть было нечего, мама ходила, побиралась. Кто что подаст. Потом стало легче, посадили картошку, когда мама умерла, колхоз давал зерно.

Помню, росла в лесу черемша. Все ели, я не могла, но, видно, тоже ела, иначе как бы выжила.

Сестра пошла в школу. В 1946 году получили вызов от дяди, от папиного брата, и нас троих – Виталия, меня и Анну – отправили в Латвию. Доехали, кажется, до Канска, а дальше нас не пустили, и мы вернулись обратно к маме в Вахрушево. Сколько прошло времени, не знаю, мама отправила в Латвию старшую сестру и Анну. Они тоже не уехали, поместили их в Бельский детский дом. Был такой поселок Бельск. Жили они там до 1956 года. И снова стал их искать дядя, ему сказали, что их отец нашел. Потом они уехали в Латвию. Сидели на станции в Ливаны. А в Ливаны работала дядина дочка Элза, она уже умерла, Освалдс – двоюродный брат. Кажется, Элза подошла к ним, спросила, кто они такие. Элза отвела их к отцу, там, в Трепе они и жили. Ходили в Ливанскую вечернюю школу, в сред-

*Есть было нечего,  
мама ходила,  
побиралась. Кто  
что подаст.  
Потом стало  
легче, посадили  
картошку...*



*Рута и Виталийс у гроба матери Иевы*

нюю школу. Жили на квартире у какого-то хозяина. Потом уехали в Екабпилс, работали на сахарной фабрике, учились в вечерней школе.

Еще учились они в Бебрене, на ветеринарного врача. Младшую сестру направили на практику в Добеле, там она вышла замуж.

Мы с братом остались с мамой. Не помню, почему. Я была боязливой, старшая сестра, вероятно, была посмелее, поэтому они с Анной и уехали.

А самой вам удалось учиться? Я жила у учителей Ивановых. У них было три мальчика. Они меня учили. Было там всего четыре класса. Писать, читать, кое-что считать умею. В школу вообще не ходила. Мама болела, я работала. Потом учителя взяли меня к себе. Были девочки, которые приходили к ним отвечать. Мама болела и умерла в 1955 году, в феврале. Я работала в детском саду.

Маме, кажется, было 52 года. Не знаю, что у нее было. Написано было – туберкулез, но, скорее всего, печень. Не знаю, потому что там была такая докторша, которая не слышала, с ней невозможно было говорить. Мама с ней каким-то образом разговаривала.

Мама жила в этом селе, никуда не ездила, там ее и похоронили.

А что случилось с братом? Спасибо Миервалдису Луке, который живет сейчас в «Гостини» возле Плявиняс. Раньше ведь все тут друг друга знали. Они поехали в Латвию, помогли мне получить паспорт, и я приехала в Латвию. Брат ушел в другое село, работал в лесу, так Виталийс там и остался, в России.

В 1981 году прислали мне письмо из психиатрической больницы: ваш брат живет там-то и там-то. Он ведь был старше, понимал, что происходит, переживал. Он хочет домой, может помогать, болезнь у него тихая.

Написала, что сама я приехать за ним не могу, спустя некоторое время привезли его оттуда две сестрички. Позвонили, что приедет брат, я помчалась в Екабпилс, встречать. Жду, жду, приходит поезд. Я спрашиваю людей – кто из вас Виталийс. Думала, не узнаю. Пришла домой, а его медсестры уже привезли. Они вышли в Ливаны. Спросили – мой ли это брат. Мой, говорю. Он не говорил, только бормотал что-то.

Прихожу в лес, вижу – он валит деревья. Спрашиваю, что делаешь, тут он очнулся. Хоть бы грибов набрал. Я была на велосипеде, взял он велосипед и уехал домой.

Вроде бы нормальный, но утром вскочит, схватит топор и в лес, рубит березы, потом пойдет на ферму. Страшно мне было, как бы провода не срубил или еще как. Отвезли его в Даугавпилс, в больницу. Там его подержали, подлечили, но поняли, что не вылечить и отправили в Аглону, в пансионат, не помню названия, где были не совсем здоровые люди.

Мама рассказывала, что писала куда-то, хотела узнать про отца, ответили, что среди умерших он не числится. И стали мы надеяться, что он жив. Так об отце больше ничего и не знали.

Узнали, когда получили из Риги свидетельство о смерти. Умер в Вятлаге в мае 1942 года. Даже года не прожил – в июне 1941-го увезли, в мае 1942-го умер...

Ну, хорошо, простим мы, ни на кого зла не держим, а кого винить? Может, это был приказ Сталина. В чем обвинять, что прощать? В Латвии редкая семья не была выслана. Может, не всю семью, может, некоторых из семьи, но ведь все равно...

# ЛЕОНАРДС ГРУНДМАНИС

родился в 1939 году



Мне было два года и два месяца, брату пять с половиной лет. Нас выслали. Было воскресенье. В поезде мать с отцом разлучили. Отец был в Воркуте.

В Куйбышеве сказали, что началась война. Отвезли нас в Томск, потом еще дальше. Мама рассказывала – рыли землянки. Бабушку забрали еще раньше – в 1940 году. Ее мучили, переломали ей пальцы.

Помню – ходил по лесу, собирал кедровые шишки, с голоду не умирали. Одежды не было. Помню еще маму на пароходе с двумя детьми, с собой только небольшой узелок с вещами. Мама сторожила склады, брала в рот керосин, чтобы принести домой. Брат пошел в школу. Я тоже пошел в 1-й класс. Помню, надеть было нечего. Мама с братом ходили в лес за сучьями, брали и меня с собой, чтобы дома не съел то, что припрятано.

К русским ребятам ходил играть. Достал из ящика горсть муки – чуть не умер. Мука застряла, стал кашлять.

Ждали, когда местные выбросят очистки. В Сибири – мама говорила, что хотела убить нас, а потом себя, но не сделала этого. Потом все вошло в норму. Много чего случилось – лежал в лодке, лодка поплыла. Неделю меня искали. Бродили медведи. Страшными не казались. Мне было три года, вот что я помню.

По маминым рассказам, местные сначала относились плохо – немцы, пока не подружились. Мама работала в школе уборщицей, подружилась с учителями. Есть хотелось всегда. Был голубой, твердый, как камень, сахар. Ловили рыбу – даже сырую могли есть. Я до сих пор помню томаты не люблю и какао – очистки напоминают. Был немец, который сушил на крыше лягушек. Некоторые ели голубей, я, кажется, лучше бы умер, чем стал бы их есть, и собак тоже.

Болеет, скарлатиной, кажется, еле выжил. Мама курила, крепко выпивала. Умерла от рака легких, когда ей было 83 года.

Потом стали ходить в лес, жить уже можно было. Из очисток выращивали картошку. Из старых лозингов шили одежду. Язык – чисто русский. Когда я приехал в детский дом, латыши били меня как русского. Потом пошел в латышскую школу.

Мать узнала, что из Латвии приехали за детьми. Надо было заплатить. Денег у матери нет, думала, уговорит. Везли нас в лодке. Я плакал, слезы замерзали. Как мама договорилась, не знаю, но нас взяли. Пароходом привезли в Томск. Там дали черный хлеб и картошку. В Томске был карантин, надо было пить керосин. Довезли до Москвы, потом до Риги. В детском доме накормили, как следует, – первая радость. Потом мыли, стригли, одели, готовили к школе.

Страх, как у дикаря. Первый раз увидел пароход. Машины увидел – рот раскрыл. Со временем пошел в школу на улице Кандавас. В Даугавпилсе по-русски, в профучилище – по-русски, работал в Риге – большей частью тоже были русские. По-русски говорил лучше, чем по-латышски. Окончил пять классов.

До 1949 года – в детском доме. Были хорошие люди – учительница Лазовская ходила по родственникам, никто не взял. Отправили в другой детский дом – на улице Калнциема. Там было лучше. Играл в духовом оркестре. До 1953 года – потом отец забрал в Даугавпилс. Он из Воркуты вернулся раньше – в 47-м или в 48-м году. В Риге жить ему не разрешили, за 101-м километром.

Отец про Воркуту не рассказывал. В Даугавпилсе построил дом. Ничего не рассказывал.

*Обрусел. Со временем пошел в школу на улице Кандавас. В Даугавпилсе по-русски, в профучилище – по-русски, работал в Риге – большей частью вокруг тоже русские.*

Его рано освободили. Из детского дома нас не забрал. Почему, не знаю. Умер в 81 год.

Второй раз нас не выслали. При живых родителях жил по детским домам. В детском доме было лучше, чем у отца. Там кормили, одевали. На улице Калнциема – четыре раза в день давали есть. В Даугавпилсе – как во второй Сибири. Хлеба не было – голод. В школе чувствовал себя как дурак. Никто не помогал. В 16 лет уехал из Даугавпилса в профтехучилище, окончил в 1955 году, стал маляром. Жили в бараках и строили дома в Риге.

В 1956 году приехала мать, нашла меня. Жить было негде, пришла в общежитие уборщицей. Дали нам одну комнатку. Брат демобилизовался, работал шофером в детском саду. Жили втроем на чердаке на улице Сколас. Отец остался в Даугавпилсе, жил с другой женщиной. Матери не дождался. У него была дочь. Как ребенку, мне все было хорошо. И плохо – тоже хорошо.

По сей день не понимаю, за что выслали. Ни наследства у нас не было, ничего. В документах – неблагонадежные. Может быть, немецкая фамилия?

Вся жизнь исковеркана. Образования нет. И учиться я не хотел, быстрее работать. Окончил профучилище, как начал работать – так до пенсии. Я вот уже пять лет на пенсии. Дети не особенно интересовались переживаниями родителей, хотя и знали.

Иногда стыдно, что латышского языка как следует не знаю. Самое интересное – женился я на девушке из того села, где была мама, звать ее Анна Круминя. Родилось двое детей, а жить негде. Нашли, устроился на работу, еще двойня родилась. Вырастили четверых. Вот живем.

Так жизнь и прожил – даже зла нет. Мама – ужас, как она выжила с двумя детьми. Брат помогал, я ничем. Мама приехала – словно бы чужой человек. Десять лет прошло. Встретились – не плакал, словами не выразить, что чувствовал.

Говорил всем, не стесняясь, что был выслан. Все были люди простые. Десять лет проработал – дали квартиру, детский сад для детей, мотоцикл.

Со своей стороны могу сказать – не спасает, если все понимаешь. Скупость с детства осталась. Все надо рассказать, чтобы не повторилось. Хотя и это ничего не дает. Если работаешь – все есть.



*Слева: Вилнис и Леонардс в Сибири*

# ВИЛНИС ГРУНДМАНИС

родился в 1934 году



Меня, брата и маму посадили в один вагон, отца в другой, и конвойные нам сказали: когда доедете до конца, все снова встретитесь. Мама спросила, куда повезут, и они ответили – поедем далеко, здесь война будет.

Доехали до Горького. Там немцы сбросили первую бомбу. И больше войны мы не видели. И повезли нас через Тюмень в Томск.

В Томске высадили и две недели прожили там в карантине, очень многие болели, особенно дети.

Когда карантин кончился, посадили на пароход и повезли в Каргасокский район Томской области, в село Большой Подбельник. До села еще 30 километров везли на лодке. Разместили в школе, чем-то покормили. А Большой Подбельник – это была настоящая тайга, мама там работы найти не могла. Обзывали нас фашистами и говорили, что им самим есть нечего. И мама пошла побираться. Кто очисток даст, кто что, и мы эти очистки запекали на чугушке, потому что у нас ничего не было. Но были там и богатые люди.

Когда приехали в Каргасок, мать стала гадать на картах. И как говорила, так все и случалось. Но как она погадает кому-нибудь, так сразу заболела. А жили мы в такой хибаре! Близилась зима, сельсовет подарил нам разрезанную лодку, из нее мы построили будку. Трубы не было, но вечером топили так, чтобы можно было на земле спать в соломе. Зиму кое-как отжили, наступила весна, и ожил лес. Сельсовет принял меня на работу, дал мне коня по имени Горбунок, и я развозил на нем почту.

Еду я в село Восток – не идет лошадь, не знаю, что делать. Было мне восемь лет. Взял коня за повод и вел за собой. Смотрю – пчелиный рой!

Лошадь медведя почуяла и ни с места... сел в телегу, а лошадь не идет! Так я километра четыре вел лошадь на поводу, а до села восемь километров. Там весной медведи много скота задрали, и председатель, которому я привез письмо, удивился, как это мне не было страшно.

Заплатили мне девять рублей. Мама работала сторожем на складе, но ночью выходить на улицу боялась. И она устроилась уборщицей в школе. Директор брать ее не хотел, но мама была человек образованный – латышский, русский, немецкий языки знала, была честным человеком, политически не была настроена против Советского Союза. Так она начала работать в школе. Я окончил четыре класса.

Мы вырыли землянку, в ней жили. В одном конце дверь и окно, дальше солома. Летом жгли костер, выгоняли комаров, спали на соломе, расстеленной на земле. Была там еще одна немецкая семья. Как мы там оказались, не знаю, может быть, потому что был карантин.

Мама работала в школе уборщицей и неофициально преподавала математику. Так она работала в 42-м и 43-м годах.

В школу ходили, но была у нас одна рубашка, одни брюки и одни валенки. Я пошел в школу. Потом мама достала еще одни валенки – младшему брату. В школе сидели в обуви, пошитой из ватников.

Стали ловить рыбу. Из ниток в четыре слоя мастерили удочку, согнутый гвоздь вместо крючка.

Поймали щуку, насадили кусочек мяса, забросили и сразу же вытащили. И снова щука! Ловили окуней, до 500 граммов.

Потом прислали семена, и мы посадили помидоры. В мае посадили, а в

*Я пошел в школу.  
Потом мама  
достала еще  
одни валенки –  
младшему брату.  
В школе сидели в  
обуви, пошитой из  
ватников.*



августе были уже желтые помидоры. Выращивали капусту, солили в бочке.

Вшей было у нас много. Мама все выстирает, выполощет, а в школу приходим – о, у латыша вошь! Оттого, что жили впроголодь.

Учился хорошо. Владел русским, латышским языком, стихи хорошо читал. Учился в 4-м и в 5-м классе. До 1946 года.

В тайге лушили кедровые орехи, обжигали, чтобы орехи становились мягкими. Петлей из конского волоса ловили белок.

Охотники ловили медведя так: в четырех углах ставили ружья, в середине дохлую корову. И когда слышали выстрелы, бежали туда, и нам тоже доставалось по куску медвежьего мяса.

Когда в 42-м у нас вообще ничего уже не было – с собой мама ничего не взяла, только белье с одной полки, она все продала, даже рубашку и лифчик, – она взяла нас обоих и завела на вышку, откуда лесники лес осматривают. А высота была метров десять. Обняла нас и хотела броситься вниз, но не решилась. Она говорила потом – Бог мне помог. Спустились вниз, она взяла в рот табак – это была ее еда.

В 46-м году приехала из Латвии женщина, которая собирала детей, чтобы отвезти их в Латвию. За каждого ребенка надо было заплатить 30 рублей. Денег у нас не было, но оказалось, что эта женщина – с текстильной фабрики, где мастером работал двоюродный брат Викторс Павловскис, и она сказала: «Привози детей в Каргасок».

Ехали 30 километров по Оби. А месяц октябрь, лодку все время водой захлестывает, и мы все время вычерпываем. С Божьей помощью добрались до Каргасока, переночевали у знакомых, и нас взяли на пароход. Целую неделю плыли до Томска против течения.

В Томске продержали в детском доме две недели – был карантин. А группа, которую собрали, уже уехала. Так мы остались в детском доме. И драки, и воровство безбожные, ночью забирались в окна, сдирали одежду, крали одеяла, подушки. Забрали нас оттуда и привезли в Ригу – 28 или 29 декабря 1946 года. Приехали полуголые. Отвезли автобусом в детский дом. Жили там до февраля

1948 года. Там я выучился на сапожника, кое-чему по хозяйству. В детском доме впервые на столе увидели хлеб и масло, был чай с сахаром. Можно было есть, но брали хлеб с собой. Жили в общезжитии, по утрам бегали на станцию Засулаукс и продавали кусок хлеба с маслом за 10 рублей. И шли в магазин покупать леденцы. Граммов по 200 выходило.

У нас был очень строгий воспитатель Блаусс. Но и справедливый – если двое дрались, оба получали по ушам. А Сталс был добрее.

В 48-м году послали меня в специальное профучилище в Вентини. Там я снова пошел во 2-й класс. Учился отлично. Образование у меня – четыре класса и диплом слесаря.

В 1952 году пошел я на прием к Вилису Лацису, чтобы маму отпустили из Сибири. В охране работал там мой дядя, и он устроил мне прием у Лациса. Послушал он, что я бормочу, и сказал: «Когда пойдешь служить и достигнешь совершеннолетия, тогда и поговорим. А сейчас ты ничего не сможешь сделать».

В 1953 году меня призвали в армию.

Папу из Воркуты освободили в 48-м году, жил он в Даугавпилсе. В КГБ ему сказали, что прописаться он может только в 100 километрах от Риги. Работал он на пилораме, пилил доски.

Я служил в Латвийской дивизии. Жил в дивизионной автороте, учился в школе сержантов, но звание не дали – осужденный.

После службы работал шофером.

В 1955 году я узнал, что можно вызвать в Латвию высланных до войны. Политрук тоже был латыш, его семью тоже выслали. Он помог мне написать заявление, как положено, и я отправился на бульвар Райниса, 1. Мне не ответили, но через три недели мама написала, что едет домой.

С мамой мы разговаривали по-латышски, а с братом по-русски. В детском доме мы снова были в латышской группе. Мне не верят, что я латыш. Говорю с акцентом, да и на латыша не похож.

Рассказываю я обо всем об этом впервые. Легче от этого не становится. Жизнь идет вперед, и снова надо бороться за свое существование. Видно, это и есть жизнь...

# АРВИДС ГУЛБИС

родился в 1931 году



13 июня 1941 года отец ушел в лес, он знал, что если его возьмут, то расстреляют. Он был айзсаргом и должен был сдать оружие. Отец и меня научил стрелять из малокалиберки. (Русские в армию меня не взяли, я считался ссыльным.)

Отец велел мне пасти коров ближе к лесной опушке. Их там было трое, я принес им завтрак. Все мы следили за домом – что там будет происходить. Я мчался через гору с криком: «Синие идут!» – у русских форма была синего цвета. Они все бросили и побежали в лес. Я остался пасти коров. Подошли солдаты, спрашивают, где отец. Сказал, что не знаю, но они увидели на краю поля остатки завтрака, и четверо с оружием повели меня в лес разыскивать отца. Ну где им найти отца! Я их не боялся, оружие у отца видел, даже стрелял из отцовского оружия. А мама, пока мы бродили по лесу, собирала одежду, связывала узлы. Я, десятилетний мальчишка, всего трагизма происходящего не понимал. Нас посадили в грузовик, двое солдат со штыками охраняли нас. Из нашей семьи увезли маму и меня. Привезли в Валмиеру, посадили в вагоны, в которых перевозят скот. А я подумал – поеду на поезде! Мне все это казалось приключением.

С собой у нас были продукты тоже. И в дороге кормили – из армейской кухни. Когда приехали на конечный пункт, вот тут уж «амба». Приехали в Ачинск и сразу же мы стали менять одежду на провизию. Ачинск – районный центр, лесов там не было. Когда распределяли, спросили, куда хотим поехать – в леспромхоз или в колхоз. Хорошо, что мама поняла ситуацию, выбрала леспромхоз. Там давали по 500 граммов хлеба в день. Из распределительного пункта повезли нас в село, там протекала речка – маму

направили очищать от кустарника берег, чтобы можно было сплавать лес. Через некоторое время из села переселились ближе к железной дороге. В районный центр работать маму не пустили. Мама поинтересовалась у коменданта, могу ли я учиться, хотела отправить меня в ремесленное училище. Разрешение дали, поехал я в училище. Потом и работа была, трудился в конторе плотником. Было это, правда, позже, кажется, уже в 1947 году.

В селе было много пустовавших домов, без кроватей и окон. Спали на полу.

Хорошо, что в селе была школа-четырёхлетка и учительница из Ленинграда. Русский язык я понимал, но писать не умел. Учительница была в отчаянии – по математике «отлично», по письму «двойка». На этом и закончилось мое образование в селе. Потом я учился в Ачинске, в вечерней школе, язык к тому времени я уже знал. С мамой разговаривали по-латышски, и в селе жили латгалцы, с которыми тоже можно было говорить по-латышски.

Местные были люди не злые, большинство живших в Сибири и сами были когда-то высланы. Они нас понимали, ненависти не испытывали. Были, правда, и такие, кто вначале обзывал нас фашистами, дразнили: «Дурной латыш, куда летишь?»

В 1946 году мы слышали о возможности отправить детей домой, но у нас в Латвии родственников не было, не к кому было ехать. Да мама и не очень старалась меня отправить, и хорошо, потому что потом многих отослали обратно.

Латвию я помнил, все-таки мне было десять лет. Помнил отцовский дом.

Мама работала, получала свои 500 граммов хлеба. Меняла одежду

*Медведя не видел, но как он рычит, слышал. Зашел на вырубку за малиной, слышу – чуть дальше шум и рык. Я со всех ног припустил домой.*



*Арвидс с матерью Эммой в Сибири. 1945 год*

на продукты, деньги там не ценились. Летом в лесу было много съедобного – чеснок, дикий горох. Картошку хранить было негде, и мы ее не сажали. Нас бросали из дома в дом, а у русских дома маленькие. Потом выделили нам комнатку в бараке. Самое ужасное – нам не хватало соли. Разве только запеченную в печи картошку можно было есть без соли. Хлеб давали, это был тяжелый формовой хлеб. Кусочек маленький, а весит полкилограмма.

Осенью ходили собирать колосья. Наберем, почистим, мололи на ручной мельнице. Добавляли в хлеб картофель. А так как печи у нас не было, русские с готовностью разрешали нам пользоваться их печью.

На охоту не ходил, не было дрови. Порох местные где-то доставали, но где, не знаю. Дробь местные добывали в горах, в свинцовых выработках. Выламывали кусок породы, кидали его в огонь, свинец плавился и стекал в ямку. Так получали дробь. Я ставил петли на зайцев, иногда случалось и поймать. Из животных были там еще олени, лисы и медведи. Медведя не видел, но как он рычит, слышал. Зашел на вырубку за малиной, слышу – чуть дальше шум и рык. Я со всех ног припустил домой. Для серьезной охоты я был еще мал.

В село приехали солдаты из Ачинска – за дровами для воинской части. У солдат были автоматы,

у офицеров – пистолеты. Мы, дети, пристали, чтоб и нам дали пострелять. И давали, только стрелять мы ходили за село.

Война шла к концу, об отце мы ничего не знали. Позже кто-то из родственников написал, что отец в Америке. В тот раз он убежал в лес, и всю войну прожил в собственном доме. Когда немцы отступали, он, возможно, направился в Лиепаяу, оттуда в Америку. Мы с отцом не встретились.

В Сибири окончил училище, начал работать в Ачинской стройконторе. Были проблемы с жильем. В районном центре мама найти работу не могла, через какое-то время получили разрешение переехать. В комендатуре надо было регистрироваться каждый месяц. Пришли, подписались.

Нас там было немного, и комендант всех знал. Тогда было не так, как сейчас, – придешь в милицию, а тебя спрашивают, как тебя звать. Те чекисты нас знали. Однажды я опоздал отметить, пришел, спрашиваю – зачем подписываться. Он мне на это ответил одним предложением, отправит, мол, меня к белым медведям, если мне не нравится установленный советской властью порядок. Тут я испугался и больше ни о чем не спрашивал. Стоило мне возразить, он тут же исполнил бы свое обещание.

На севере все солили рыбу, чтобы соленую отправлять на фронт. Я остался в стройконторе. Потом приехала мама и устроилась уборщицей в хлебном магазине. Тут уж нам хлеба хватало. После смерти Сталина режим сделал послабление, в 1958 году всем выдали настоящие паспорта – езжай, куда хочешь! Конечно, я хотел уехать на Родину! Я четырежды пересекал Уральские горы – первый раз в 1941 году, потом в 1958-м, когда приехал в Латвию, договорился, где остановиться, и поехал обратно за мамой. А в 1959 году поехали в Латвию, чтобы остаться навсегда.

Приехали домой – нужна работа. В Сибири одно время шоферил. Мне не нравилось, но на мебельном комбинате работу мне обещали лишь через пару месяцев. Порекомендовали навеститься в АТК, сесть на грузовик. Комично было, когда я не смог на латышском языке написать заявление. Велено мне было ехать в Салацгриву, а я не знал даже, где это. Пришлось заглянуть в карту. Там я в первый раз увидел, как люди за свои деньги покупают землю под огороды.

# АЙЯ ГУТМАНЕ (СИАТКОВСКА)

родилась в 1934 году



Я родилась на хуторе «Атваситес», в Зентене. В 1941 году нас вывезли в Сибирь, это было раннее субботнее утро, мама собиралась печь хлеб. Вошли четверо мужчин, отца позвали в соседнюю комнату. Слышала, как отец сказал: «За что? За что?». Мама разрыдалась.

Велели собираться и укладывать вещи в чемодан. Вошел один и говорит – никаких чемоданов, складывайте в одеяла. Мама плакала, ничего не делала, вышел папа, открыл шкаф и стал кидать всю одежду на расстеленное одеяло. Потом побежал за копченым мясом, дома был небольшой кусочек.

Во дворе стояла машина, сели. Там уже был аптекарь и Гростиньши. Заехали в «Скапули», их взяли. И поехали в Стенде. Всех согнали на станционную площадь. Начался дождь, сказали – мужчины в одну сторону, женщины – в другую. Мама была в панике. Солдат начал нас пересчитывать. Сосчитал и велел садиться в вагоны. Папа взял все узлы. Двери закрыли. Поехали в Тукумс II. Зашел один, спросил: «Кто-нибудь понимает по-русски?» Отозвалась мама. Ей сказали: «Берите малышей и сходите с ними на лужок, пусть пописают». Мама собрала детей и пошла. И говорит мне: «Бежим, доченька!» А я в ответ: «А как же папа, он нас в конце будет ждать». (Плачет.) И мы пошли обратно.

Доехали до Урала, там неделю стояли, мимо шли эшелоны с солдатами и оружием. Конца у нашего поезда не было, он извивался как змея.

Иногда выпускали нас в чистом поле, в болотистой местности – привести себя в порядок. Вымыться. Так ехали до Красноярска. Возле реки на сваях стояли бараки, бегали крысы. На нарах места хватило не всем. Назавтра приехали за нами на подводах из колхозов. Семьи

с маленькими детьми и стариками дождались своей очереди последними. Позвали нас, была еще госпожа Гринфелде с двумя детьми из «Ламини». Привезли нас в Казачинск, высадили на площади перед исполкомом. Выделили нам жилье в доме на курьих ножках по улице Садовая, 18. Было две комнаты с провалившимся полом. Там уже жила одна семья – поволжские немцы. У них была плита. Мы достали железную печурку. Спросили, что умеем делать. Мамино шитье и вязание никому не было нужно. Было место в дубильне. Мама и госпожа Гринфелде пошли дубить овечьи шкуры. Мама в кармане приносила горстку овсяной муки с мякиной и соль, и мы варили жидкую кашу – тум. Летом собирали грибы, крапиву, лебеду. Варили с овсяной мукой. По темноте мама ходила подбирать колосья, если ловили – били кнутом, а колосья высыпали на землю.

Зерно уваривали в кашу. Ели и дождевики, кашу варили. Сначала ели дети, потом мамы. Все трое мы однажды чуть не умерли – видно, дождевики были старые. Немка сварила травяной чай. Нас укутали, и началась у нас неукротимая рвота. Зато пришли в себя.

Наступил 1943 год, немного стали платить, высланные меняли одежду на продукты, мама отдала золотое кольцо за ведро картошки. Осенью мы, дети, ходили собирать картошку. Бегали за плугом, дети постарше меня отталкивали. Капуста была убрана, мы ходили подбирать листья, квасили.

Провалился пол – жить было негде. Стали искать жилье, нашли на улице – Советская, 28. Это был бревенчатый дом, нам выделили прихожую. Но там даже плиты не было.

Из Тукумса были высланы дед с внуком и бабушка. Он был гончар,

*Мама положит буханку на полку, чтобы я не могла достать, и по кусочку отрезала – к супу из лебеды, капусты или хвоща.*

сложил нам плитку. У стены была лавка, у другой стены – плита и столик, под которым у нас жили три курицы и петух. Было так холодно, что куриный помет замерзал. В другом углу стояла бочка, так в ней капуста замерзла. Как выжили? Было одно одеяльце, мамино пальто, мое пальто, пошитое из одеяла, накрывались всем, что было, спали в платках. Иногда и в школу не ходила – замерзали двери.

В школу я пошла в девять лет, но об этом мало что помнится. Я все время боялась, что мама пропадет. Когда мама уходила на работу, я боялась, что она не вернется. Позже она стала шить и вязать в промкомбинате, работала дома. Если ее не было дома, когда я просыпалась, то я бегала по селу и звала: «Мамочка, ты где?»

Когда пошла в школу, давали газеты, и на полях мы писали. Книг домой не давали. Путала латышские и русские слова.

В 1943 году пришло известие от отца, что он к нам едет на пароходе и встречать его надо в Галанино. Будет через неделю. Мама бегала, искала картошку, все-таки одним едоком будет больше. И вот этот день уже близко. Пришел милиционер – маму вызывают в милицию. Я собирала землянику и продавала стаканами милиционерам. Мама пошла, ей сказали – надо идти, получить своего мужа. – Как получить? Сказали: «Ваш муж умер, вы должны пойти в Галанино».

Мама была в панике. Мы, дети, остались дома, мама с госпожой Гринфелде пошли за 17 километров в Галанино. Шли они вдоль Енисея и смотрят – лежит человек. Подошли, мама задрала штанину – на ноге шрам. Когда-то папа косил и порезал косой ногу. И во рту был один золотой зуб. Это Адолфс. Когда-то он весил 80 килограммов, а сейчас едва было 45. Они стали искать документы – документов не было. Они плыли на пароходе, человек десять, он был самый молодой – всего 37 лет. У них были деньги на дорогу, и он на каждой остановке бегал с котелком за едой для всех. В пути он показывал всем наши фотографии – доченька его встретит. Он пошел спать и попросил в Галанино его разбудить. Его стали будить, но он не поднимался. Адолфс заснул на вечные времена. Его как собаку выбросили на берег и обокрали. И Каулиньш вышел.

Милиция искала и нашла его документ об освобождении. Врач написал – сердечная недостаточность. Мама взяла обе бумажки, и за какую-то одежду один украинец сколотил ей ящик. Могилы там нет.

В Галанино ссыльные вырыли яму возле сосны, мама и госпожа Гринфелде опустили ящик и закидали его землей руками. Со слезами возвращались обратно. А мы, дети, были у Гринфелде, и кто-то постучал в окно – увидели костлявого человека. Так перепугались, что попрятались под лавками. А тот стучится и стучится, стал звать: «Дети, впустите меня!» Он искал латышей по фамилии Гутманис, чтобы рассказать, что случилось с отцом. Наконец мы его впустили. Детям Гринфелде было 12 и 15 лет. Он сказал, что идет к жене, а сам из лагеря. Мы сварили картошку и стали его кормить, но чуть не прикончили. Благодаря немке он оправился. На другой день пришла мама, и он ей все рассказал.

А мы жили дальше. Мама работала на комбинате, вязала и частным образом. Работающим стали давать полкило хлеба. Хлеб тяжелый – буханку надо было растянуть на неделю. Мама клала буханку на полку, чтобы я не могла достать, и по кусочку отрезала – к супу из лебеды, капусты или хвоща. Собирали грибы и ягоды. За восемь километров от нас в горах была мельница, там мы мололи ягоды черемухи. Из нее варили кисель.

В 1945 году разрешили посылать две посылки в год. Папина сестра прислала три посылки. Бабушка прислала толстый кусок сала, прислала газеты, чтобы я училась читать. Прислала нитки, ленты для кос, сушеные яблоки, сухари. Посылка не должна была быть тяжелее пяти килограммов и шла три – пять месяцев. По дороге из школы заходила на почту – пришла посылка или еще нет. Посылали и бандероли с газетами, завернут, бывало, и кусок мыла или 100 граммов сахара. Мы совсем ожили.

Наступил 1946 год – дети стали уезжать домой. Я без мамочки ехать никуда не хотела. И мы остались. Мама с бумагами пошла в милицию – мужа освободили, как невиновного, значит, и жена, и ребенок свободны. Ей предложили подписать бумагу о вечной ссылке. Она отказалась. Характер у нее был неподатливый. Она оформляла документы, тянулось это долго. А там была одна еврейская семья, они узнали, что можно уезжать домой, и звали нас с собой. Сели в открытый грузовик, поехали в Красноярск, там уже был муж с билетами, и поехали мы в Москву. Там тоже уже были билеты, в Москве мы были 1 мая, а 9 мая приехали в Латвию.

Когда переезжали границу, пели и плакали. Еврейки тоже пели. Мы должны были поехать в Тукумс.

Тетя, сестра отца, жила в Риге, на всю жизнь осталось в памяти – у вокзала стояла пролетка, извозчик в ней – громадная женщина. У нас был с собой узелок – мы из Сибири вернулись домой. Она плакала, отдала нам свой хлеб и повезла нас по улице Алукснес к тете. Через три дня уехали в Тукумс, оттуда к Лиге. Встречал нас дедушка. В нашем доме жил парторг, который другую бабушку изводил, даже топить печь не разрешал.

Приехали в «Пурвини». Там нас встретили пирогами. И началась наша жизнь в Зентене. Мама с дедушкой ездили в Ригу, отсудить дом, в котором хотел жить парторг. На суде мама встала – она вернулась домой и хочет жить в своем доме. Так через суд мы вернули свой дом. Через полгода парторг ушел. Мама каждый месяц должна была отмечаться в милиции – сначала в Талсы, потом в Кандаве. В паспорте стояла запись, что она не имеет права переезжать и занимать какие-либо должности. Не хотели принимать на работу. В 1949 году начались

колхозы. Мама паспорт сожгла и сказала, что потеряла. И ей выдали новый паспорт, без статьи. В школу ходила в Зентене, не умела ни читать, ни писать. Летом ходила к учительнице Спроге заниматься. Пошла снова в 4-й класс, было мне 13 лет. Мама мне читала географию, естествознание, историю – вспомнила. Окончила семь классов. Заставляли меня вступать в комсомол – а как я вступлю, если я была выслана. Всех отвезли в Талсы – и приняли, меня тоже. В Риге, по прошествии скольких-то лет, я потеряла билет.

В Риге два года училась в средней школе, потом окончила кулинарный техникум, работала поваром, потом вышла замуж. Родилось двое детей.

Мама жила в Зентене, потом с одним человеком в Тукумсе. Когда он умер, пришла к нам в Ригу, прожила до 75 лет.

Около белого креста растет высокая красивая сосна. Возле нее я ставлю свечку – это могила моего отца.



*Айя с мамой в Латвии*



## ОЛАФС ГУТМАНИС

родился в 1927 году

В 1941 году мы жили в Лиепе, на улице Лиела возле самого моста. Его разрушили во время первых налетов немецкой авиации. Мама работала в столовой, заведующей. У нас был свой небольшой дом на улице Ганибу. Богатыми мы не были.

У дверей позвонили вооруженные люди, один офицер, милиционер, один латыш, который указал на нас, как на буржуев, нежелательных для советского строя. На улице Ганибу он жил напротив нашего дома. Приказали нам собираться. Мама владела русским языком и немецким тоже. Нам разрешили съездить в маминым родителям.

Какие-то вещи захватили с собой. Меня посадили в вагон к мужчинам, все стояли, вагон переполнен, сесть было почти невозможно. В вагоне был и министр земледелия Бирзниекс. Нас выпустили, меня отправили в вагон к женщинам, к маме. На станции Тосмаре всех рассадили, в Лиепе никому на перрон выйти не разрешили, металлический забор был весь облеплен людьми, смотрели, как уходит эшелон. До Красноярска ехали почти месяц. В дороге узнали, что началась война.

Выпустили на Западно-Сибирской равнине. Вокруг охрана. Канавы, заполненные водой, люди там мылись, женщины полуголые, кустики редкие. Нехватку еды почувствовали уже в поезде. Весной 1942 года положение было совсем трагическим – у многих началась дистрофия.

Помню, высадили нас на станции Енисейск, возле Красноярска. Там был огромный барак, несколько ночей все спали на полу. Местные крестьяне на своих телегах везли нас в этот барак, лил дождь, вокруг страшная грязь, я и в самом худшем сне не мог себе такое представить, грязь липкая, до ступиц.

Женщины были в шляпках, с зонтиками, как они брели по этой грязи! Мне, как мальчишке, это казалось комичным.

Нам посчастливилось попасть в Советский район, в поселок Берёзовка. Было семь-восемь детей в возрасте до 15 лет. Через неделю собрались мы и решили податься в горы. Вечером по темноте вернулись, отругали нас и родители, и в комендатуре.

Голод. Начало тяжелого физического труда. Неработающим давали 300 граммов хлеба, работающим – 400. Другого ничего, только лук да огурцы с колхозного поля. Мама меняла одежду на картошку, на молоко. Свой летний костюм мама отдала за 20 литров молока. Леса поблизости не было, лесочек реденький, сучьев не было, топить зимой нечем, вынуждены были воровать дрова, ломать заборы.

С нами в комнате жили восьмилетняя Силвия Матиса, Кронбергсы, Стенгревицы. Выяснилось, что маму пытались завербовать как агента чека. В Лиепе приходили немецкие суда, и офицеры посещали столовую. Бабушка была немка, мама прекрасно владела немецким. Мама отказалась. Отец состоял в организации айзсаргов, но активным членом не был.

Маму в Берёзовке еще вызывали в чека, допрашивали, помню, пришла она домой, вся трясется, ужасно переживала.

Вместе с нами был и Лаймонис Зивертс, родителям которого принадлежал большой магазин в Лиепе. Мама Лаймониса была командиром айзсаргов на железной дороге, ее тоже допрашивали, осудили и расстреляли в Красноярске. Мы приняли к себе Лаймониса, мы и

*Приехал отец.  
Его выпустили  
из-за проволоки  
как инвалида  
2-й группы, до  
станции он полз на  
четвереньках.*

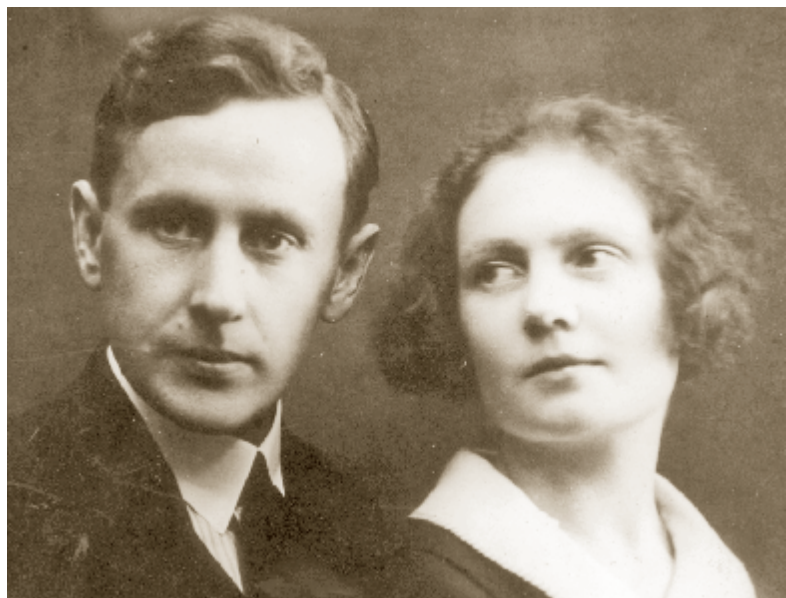
позже на Севере были вместе. Сейчас он живет по соседству, вернул дом своих родителей. Тут же напротив и дом министра Бирзниека. У меня тогдашняя жизнь ассоциируется с постоянным острым чувством голода, все время приходилось думать, чем набить желудок. Ночами ходили воровать, взломали даже колхозный склад, в нас стреляли, мы успели насыпать в шапки овес. Весной подсмотрели, где колхоз сажает картошку, ночью приходили выкапывать, чтобы поесть. Обходили колхозные поля, искали колоски, зерно варили. За разную работу брались. Валили лес на берегу Енисея. Дали нам однажды неосвежеванную лошадиную голову, обменяли ее на зерно, а оно оказалось протравлено, чуть не умерли.

Мама работала в сапожной артели бухгалтером. Ездил в командировку в Красноярск, привезла японское машинное масло, на нем жарили лепешки. Тогда пуд муки стоил 2 000 рублей, литр молока – 20 рублей, ведро картошки – 120 рублей. А мамина зарплата была 150 рублей. Ни в магазинах, ни в столовых ничего не было.

И тут стали отправлять на Север. Оставляли только с маленькими детьми. Нас с мамой в списках не было, но я упрямил маму, был романтиком. Ехали тысячи латышей, огромный караван, вереница из 15 барж. Тянули по Енисею до самого Диксона. Там было много знакомых и интеллигентных латышей. Среди них и Ольгертс Кродерс. Многие погибли. Умирали в пути от дистрофии. Кнагис хорошо помнит, как мы хоронили студента в вечной мерзлоте.

Приплыли в Усть-Порт. Организовали бригаду. Вентспилские и семья Фрейбергсов из Злеки. Из Лиепай был Лаймонис Зивертс, из Риги госпожа Лаце с сыном. Отвезли нас за 90 километров вниз по реке, выкинули на берег, где стояла только конюшня. Немцев из Энгельса и нас. Из Астрахани были прикомандированы рыбаки нас обучать. И началась наша рыбацкая жизнь.

Оказалось, что в том же поселке Казанцево в свое время побывал и Нансен. Нансен описал его в своей книге. Я потом прочел, что он писал о Казанцево. Нашей бригаде достались старые развалины, немцам – конюшня с метровым слоем навоза. И приступили мы к лову рыбы. Рыбалка с детства была моим любимым занятием. Мне было 16 лет, когда меня назначили бригадиром. Три года зимой занимался подледным ловом и два года летом ловил двухкилометровыми сетями. Все это сопровождалось невероятными трудностями,



*Отец Индрикус и мать Ирма в Латвии*

но я приноровился к условиям. Многие именно в первый год – в 1942 году – трагически погибли: бушевали шторма, многие проваливались под лед, терялись в тундре. Голод был не такой страшный, как на юге Сибири, давали хлеб, голод можно было, по крайней мере, утолить. 800 граммов масла, 2 килограмма крупы в месяц, 700 граммов хлеба в день. Так прожили мы на Севере шесть с половиной лет.

Приехал отец. Его выпустили из-за проволоки как инвалида 2-й группы, до станции он полз на четвереньках. Перезимовал в Берёзовке, весной приехал к нам на Север. Он так оголодал, что вставал ночью и съедал наши порции хлеба, удержаться не мог, болел, был еле жив. Нам разрешили переехать в южные районы. Родители очень болели. В 1947 году мы покинули Север. Приехали в Берёзовку, там нам страшно не понравилось. Рискунули и сбежали в Латвию. Отцу посчастливилось пожить там два года, матери два с половиной, мне три, потом нас снова выслали. Сначала отца, всех по этапу. На счастье, не дали срок.

Поселили нас в Тюхтетском районе. В самой тайге. Были мы все вместе. С мамой я встретился у Мелании Ванаги. Я еле дышал, у меня было воспаление легких. В Латвии болел туберкулезом. В Красноярской тюрьме врач сказал, что с температурой 38 я околею зимой в дороге. В 25 лет окончил в Тюхтете школу. Хотел учиться в Красноярске, изучать лес, природу. Не получилось – чека чинила всяческие препятствия.



Я учился в Тухтетской средней школе, в Липае учился в музыкальной школе вокала, пока не заболел туберкулезом. До второй ссылки я четыре месяца провел в санатории в Тервете.

С одним русским парнем мы хотели выступить в клубе. Чека мне как ссыльному запретила. В школе на уроке физкультуры им показалось, что я шагаю, как шагают немцы. Сын начальника чека учился со мной в одном классе, ему было 15 лет. Он резко осуждал своих родителей и в пику им дружил с нами, особенно с одним немцем с Поволжья. Русские ведь очень разные.

Самое трагическое мое воспоминание: возле Берёзовки было кладбище, женщины узнали, что туда каждую ночь свозят машинами трупы и скидывают в огромные ямы. Рядом строили бумажный комбинат, там был лагерь. Привозили голые замерзшие трупы, целые машины. Женщины ходили смотреть, некоторые узнали своих мужей. Я тоже пошел однажды, и с того момента я стал воспринимать ссылку трагически.

Отца выпустили из Кировских лагерей. Он был в 15-м лагере. В больнице, куда он попал, сдружился с врачом итальянцем, тот взял его санитаром, но состояние отца было настолько тяжелым, что его как инвалида 2-й группы активировали. Благодаря врачу итальянцу. На четвереньках он добирался до станции, кто-то из местных довел его до станции. Он приехал в Красноярск, стал нас разыскивать, мы с ним до этого переписывались. Мама была настойчива, всюду писала. Он примерно знал, где мы находимся. Письма доходили редко. Но мы уже были на Севере. Госпожа Матиса как-то вытащила его. Потом он приехал на Север.

Мы с мамой все время молились Богу о нем.

Второй раз я воспринял ссылку очень трагично, потому что прямо из школы меня привели в чека. Потом в пересыльную тюрьму. Монастырский подвал. Нары в три этажа. Людей что селедок в бочке, вместе с уголовниками. Был такой скрипач Микельсонс, у него с собой была скрипка, впоследствии он уехал в США. В Риге на вечере поэзии ко мне подошла его дочь, которая прочитала «Книгу жизни». Он меня спас, но его раньше отправили по этапу. Потом меня подобрал один венгр. Я покупал для него хлеб, на моих глазах он в один присест съел две буханки хлеба.

Во второй ссылке мы были вместе – отец, мама и я. Отца первый раз реабилитировали в 1956 году. Мы с мамой ждали еще долго. Приехали вместе. Прожил отец 61 год и умер от инфаркта.

В тайге я начал поправляться. Пошел в охотники. Охотился на мелкого зверя – на бурундука, ондатру. Меня вырвали из музыкальной школы, из общества. Внезапно – тайга, колхоз. Поселок Чувльская Гарь, там одни ссыльные, отношения были нормальные. Когда их раскулачили, отправили в тайгу, в болото, даже колодец был на замке, воды сколько хочется, а не попить. Мы все-таки жили в человеческих условиях. Была тайга, река, голод отступил. Но в полной изоляции. Природа вокруг удивительная. Приехали в Латвию, а мне уже 30 лет. Хотел куда-нибудь поступить. Но желание так и осталось желанием. В первый год в школу ходили, чтобы получить 50 граммов хлеба и ложечку сахара. Мама работала в интернате, преподавала немецкий язык. И когда образование мое прервалось, я очень переживал. В ссылке продолжал писать, я уже и в Латвии баловался. Второй раз снова это одиночество. Странная она все-таки, судьба.

Второй раз возвращение было безрадостным. У меня снова вспыхнул туберкулезный процесс, отправили в санаторий Вайнёде.

Познакомился с Марисом Лидаксом. Он тоже был очень болен. Промозгой зимой однажды в Вайнёдском лесу мы напились. Мариса выписали, и он вскоре умер. После того случая возникло прямое желание выжить.

Я еще девять раз ездил в Сибирь за свой счет. Эта земля меня притягивала. Все эти воспоминания. Хотел оказаться среди сибирской природы, побывать на Алтае, на Байкале. Потом потянуло меня в места, где я провел годы ссылки. Хотел съездить в Усть-Порт, на север Енисея. В тот раз не попал – запретная зона. Дважды проплыл по Чулыму, где жил тогда в ссылке. Побывал в поселке, одни развалины. Растет лебеда в два человеческих роста, непроходимая чаща. В Сибири все растет невероятно, трава выше головы. Раньше это называли – медвежий угол. Все это всколыхнуло воспоминания, родился замысел написать «Книгу жизни». Написал воспоминания, опубликовал в местной газете. Были неприятности с чека. Обвинили меня в том, что хотел очернить сибиряков, сделать из них пьяниц. Ничего подобного. Потом описал все, что помнил, начиная с 14 до 29 лет в «Книге жизни».

У меня и сейчас все перед глазами. Воображение временами начинает работать. Но в Сибири случилось так много невероятных событий.



*Олафс и матъ Ирма в Латвии*